

87
8/6
В. П. ФИЛАТОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

Мордовское книжное издательство
Саранск 1975

951

Дом санитарного просвещения Мордовской АССР

В. П. ФИЛАТОВ

Вдоль 100 лет акад. В. П. Филатова

30218 г. Саранск

ВОСПОМИНАНИЯ

В библиотеку Дзержинского
Университета имени
Академика В. П. Филатова
Петра Филатова

От В. П. Филатовой —
Филатова

Мордовское книжное издательство
Саранск 1975

27.11.75

617.7

Ф 51

Ф 51

Дом санитарного просвещения Мордовской АССР
Владимир Петрович Филатов
Воспоминания

Саранск, Мордовское книжное издательство Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров Мордовской АССР, 1975, 80 стр.

617.7

В личном архиве выдающегося ученого нашей страны академика Владимира Петровича Филатова сохранились (частично) написанные им перед Великой Отечественной войной воспоминания. Настоящее издание является их первой публикацией и рассчитано на самый широкий круг читателей.

Ф $\frac{0-2-8-4-015}{М 130 (03)-75}$ 191-75



Дом санитарного просвещения Мордовской АССР, 1975.

Н. Я. Назаркин,
министр здравоохранения
Мордовской АССР

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ФИЛАТОВА

Семья Филатовых дала нашей родине видных ученых. Брат отца Владимира Петровича положил начало отечественной педиатрии, и имя Нила Федоровича Филатова навечно вписано в историю мировой науки о детских болезнях. Выдающийся физик академик П. Л. Капица и знаменитый математик-кораблестроитель А. М. Крылов — также родственники Владимира Петровича.

Владимир Петрович родился 15 февраля 1875 года в селе Михайловке Саранского уезда Пензенской губернии, где в то время работал земским врачом его отец Петр Федорович Филатов.

Учился Володя Филатов в Симбирске, ныне Ульяновске, в той же гимназии, которую окончил Владимир Ильич Ленин.

В 1892 году В. П. Филатов поступил на медицинский факультет Московского университета. Его учителями были такие выдающиеся ученые, как И. М. Сеченов, А. А. Берданский, Ф. Ф. Эрисман, Г. А. Захарьин, С. С. Корсаков, Н. Ф. Филатов и многие другие. Курс глазных болезней читал крупный специалист, профессор А. А. Крюков. Еще учась в университете, Владимир Петрович решил стать офтальмологом. В студенческие годы В. П. Филатов приезжал на каникулы домой и работал под руководством отца в больнице. Молодой студент принимал

участие в амбулаторном приеме больных и ассистировал при операциях. Здесь в маленькой земской больнице Владимир Петрович впервые близко познакомился со страданиями больных, теряющих зрение, и понял, как полезна практическая работа врача-окулиста.

Скончив университет в 1897 году в возрасте 22 лет В. П. Филатов остался работать ординатором в глазной клинике медицинского факультета Московского университета, откуда затем перешел в Московскую глазную больницу.

В 1903 году Владимир Петрович был приглашен профессором С. С. Головиным в Одессу на должность ординатора только что открывшейся клиники медицинского факультета Новороссийского университета. В этом солнечном приморском городе прошла значительная часть жизни В. П. Филатова. Здесь он раскрыл новые страницы науки, здесь пришли к нему признание и известность. Он очень любил Одессу и всегда оставался ей верен, много раз его приглашали работать в другие города.

Вскоре после переезда в Одессу Владимир Петрович стал ассистентом клиники, в 1908 году он защитил диссертацию и получил ученую степень доктора медицины.

Его докторская диссертация—большая экспериментально-теоретическая работа о клеточных ядах в офтальмологии—даже с точки зрения современной иммунологии является крупным научным вкладом. В 1911 году профессор С. С. Головин переехал в Москву, и с этого года молодой профессор В. П. Филатов стал заведовать кафедрой и клиникой глазных болезней. Расцвет его научной деятельности наступил после Великой Октябрьской социалистической революции.

В. П. Филатов был новатором в науке. Талантливый целеустремленный, он блестяще разрешил ряд актуальных проблем. Такие его научные открытия, как метод пластики на круглом (филатовском) стебле, новый оригинальный метод лечения — тканевая терапия, вышли далеко

пределы офтальмологии и являются ценным вкладом в медицину.

В начале 30-х годов работы Владимира Петровича по пересадке роговой оболочки и другим проблемам были уже широко известны, и в 1936 году для широкого развития его научных работ Советское правительство создало в Одессе научно-исследовательский экспериментальный институт офтальмологии—ныне Одесский научно-исследовательский институт глазных болезней и тканевой терапии, где В. П. Филатов до последнего дня жизни был директором и научным руководителем.

Под его руководством институт стал действительно «институтом света», как называли его некоторые больные, лечившиеся там, потому что именно в этом институте разрабатывались новые эффективные методы лечения наиболее тяжелых заболеваний и повреждений глаз.

Строительство института закончилось в 1939 году. Новое красивое здание глазного корпуса и остальные строения расположились на высоком обрывистом берегу моря, вдали от центра, в курортной зоне Одессы.

Началась кипучая жизнь института. Сотни писем от больных, от тех, кто всю жизнь слышал только убивающие всякую надежду слова «ничего нельзя сделать», непрерывным потоком шли в институт. Владимир Петрович и его ученики во вновь организованном институте занимались не только пересадкой роговой оболочки, одновременно они разрабатывали проблемы глаукомы, трахомы, тканевой терапии и другие.

Все прервалось в один из безоблачных дней жаркого летнего месяца. Этим днем было 22 июня 1941 года, когда началась война с фашизмом.

Институт опустел. В здании института разместился госпиталь. Владимир Петрович с небольшой группой сотрудников был эвакуирован из Одессы. Остальные ушли на фронт.

Годы войны В. П. Филатов провел в Средней Азии в Ташкенте. Здесь в связи с приездом В. П. Филатова был организован глазной госпиталь для раненых, где он был главным консультантом. Владимир Петрович жил на одной из тихих ташкентских улиц, и адрес: Уездная, 11 знаком многим как ташкентским, так и эвакуированным врачам. В эти суровые дни в Ташкенте на базе глазного госпиталя и Института ветеринарии возродился Институт офтальмологии.

Уже в конце 1944 года Владимир Петрович с группой сотрудников вернулся в Одессу. А затем настал День Победы, которого четыре бесконечно длившихся года ждали все советские люди.

Предстояла огромная работа по восстановлению разоренного и частично разрушенного института, отстраивавшегося почти заново, при этом в объеме в два раза больше, чем он был до войны. Теперь в нем должно было быть 280 коек для больных и штат института возрастал до 30 человек.

В годы восстановления хозяйства, разрушенного и громадной территории страны полчищами врагов, это была очень трудная задача. Неукротимая энергия семидесятилетнего Владимира Петровича сделала то, что казалось невозможным. Вскоре все клинические отделения, экспериментальные лаборатории института начали работать. В. П. Филатов обладал огромной трудоспособностью. Его рабочий день в Институте глазных болезней всегда был очень насыщен. Кроме того, он еще возглавлял кафедру и клинику глазных болезней Одесского медицинского института.

В. П. Филатов был академиком двух академий — Академии наук УССР и Академии медицинских наук СССР. Его несколько раз избирали депутатом в Одесский городской Совет депутатов трудящихся и неоднократно — Верховный Совет УССР. Владимир Петрович был неутомимым борцом за мир, активно участвовал в конгрессах:

созываемых в защиту мира. Все он делал с подъемом, интересом и никогда не оставался к работе безучастным и равнодушным.

Правительство нашей страны высоко ценило В. П. Филатова — ученого, врача, общественного деятеля. В 1941 году за выдающиеся успехи в разработке проблемы пересадки роговой оболочки и тканевой терапии ему присуждена Государственная премия первой степени.

В 1950 году, в день 75-летия, ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. В разное время он был награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Отечественной войны первой степени, орденом Трудового Красного Знамени и другими орденами и медалями.

В 1951 году Академией наук СССР за выдающиеся работы в области биологии и медицины В. П. Филатову была присуждена Большая Золотая медаль имени И. И. Мечникова.

Замечательную жизнь прожил Владимир Петрович. Широкая известность пришла к нему задолго до смерти. Ему удалось добиться успеха во всех основных начинаниях. Предложенные и разработанные им методы лечения получили всеобщее признание в медицине во всех странах мира.

До 80 лет у Владимира Петровича было неплохое здоровье, он был бодр, активен, стремился ко всему новому.

Нелепая случайность сократила его дни. Случайное падение, повреждение ноги, связанные с этим осложнения, — этого оказалось достаточно для того, чтобы через две недели его не стало. Владимир Петрович ушел из жизни в возрасте 81 года 30 октября 1956 года.

В. П. Филатов неоднократно бывал в Мордовии, оказывал помощь органам здравоохранения в организации офтальмологической помощи, проводил показательные приемы больных. Память о выдающемся земляке В. П. Филатове надолго сохранится в сердцах мордовского народа.

В. В. Скородинская-Филатова

О ВОСПОМИНАНИЯХ В. П. ФИЛАТОВА

Нередко говорят: береги как зеницу ока. Эта фраза полна глубокого смысла. Когда зрение пропадает, то приходит к человеку большая горе — слепота. Человек становится беспомощным, теряет способность видеть красоту мира и выполнять многие работы.

И вот борьбе со слепотой Владимир Петрович Филатов и отдал всю свою жизнь. Имя его хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Своей работой глазного врача он возвратил не одной тысяче слепых зрение. Он много внес нового в науку офтальмологию. Он создал школу, которая и после его смерти продолжает успешно разрабатывать новые методы лечения глазных болезней.

Его работы, опубликованные при его жизни и после кончины, хранятся в музее-кабинете его имени. Много имеется популярных статей о жизни замечательного врача-ученого, общественного деятеля, поэта, художника. И совершенно нет сведений о его детстве и юности.

Воспоминания академика Владимира Петровича Филатова, написанные им о своем детстве и юности, о студенческих годах, представляют большой интерес, так как касаются того периода жизни, когда человек не может много оценить и уже в пожилом возрасте отдает дань природе, и тем людям, среди которых сызмала протекала его жизнь.

ВОСПОМИНАНИЯ

В. П. Филатова



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Место моего рождения определяется восемью словами: село Михайловка, Протасовской волости, Саранского уезда, Пензенской губернии.

В эпоху моего рождения Михайловка представлялась довольно глухим углом России, отстояла от железной дороги, проходившей через Пензу, в 100 верстах, от Саранска — в 25, от Симбирска — в 200; впоследствии дорога прошла через город Саранск.

Усадьба моего отца, владевшего небольшим имением, явилась колыбелью моей жизни в детстве и юности. Как досадно, что нет возможности, выразить в одном слове всю ту совокупность впечатлений, все то богатство переживаний, которые связаны в моем сердце с воспоминаниями о Михайловке.

Это слово прозвучало бы как нежная мелодия, от которой затрепетало бы и мое старое сердце, и сердце моей сестры, и моего брата. Но мне надо писать мои воспоминания обыкновенным человеческим языком и поневоле разбивать на части и описание Михайловки и моей жизни в ней. А впрочем, в этом есть и свое преимущество: дольше будут прикованы к картинам юности наши мысли, на более долгий срок оторвутся они от осени нашей жизни.

Наш михайловский дом представлял из себя деревянное длинное-предлинное одноэтажное здание серого цве-

та с железной зеленой крышей; один фасад его выходил на широкий, широкий двор, по краям которого располагались служебные здания; другим фасадом он был обращен в сторону сада; широкий двор был покрыт травой, и, когда табун и стадо возвращались с пастбища, они оставались на некоторое время во дворе и пощипывали травку, пока не загоняли их на конный и скотный дворы.

Родовым гнездом Филатовых был Теплый Стан Курмышевского уезда Симбирской губернии, где находилось имение моего прадеда Михаила Федоровича Филатова. Когда его сын, Федор Михайлович, женился на Анне Абрамовне Шаховой, он получил во владение Михайловку и верхний этаж теплостанского дома. Этот этаж был по частям перевезен в Михайловку; здесь его поставили на фундамент и превратили в дом.

Дом был прорезан из конца в конец длинным коридором, по обеим сторонам которого располагались большие, высокие, светлые комнаты. Во двор выходили кабинет отца, в котором стояли широкие оттоманки, шкафы, токарный станок и стены которого были украшены картинами (среди них я помню графа Орлова-Чесменского на рысачке Сметанке); далее следовал кабинет матери, спальная; наша классная комната, детская и комнаты няни и ключницы; в сад выходили комната дяди Феди, столовая, отделенная колоннами от гостиной, диванная и девичья. Из столовой был выход через террасу в сад. Коридор в значительной мере входил в сферу наших детских влияний, так как беготня по нему из конца в конец составляла важную часть наших игр; в нем же происходило по вечерам и показывание картин волшебного фонаря. Сколько удовольствия доставляли они нам своими яркими красками и комическими фигурками. Нам не возбранялось бегать и по другим комнатам—строгостей не было, но в кабинете отца куролесить не полагалось. Случилось, впрочем, что как раз там-то и произошла катастрофа вследствие шалости: моя сестренка подпалила спичкой стружки око-

ло верстака, начавшийся пожар был вовремя замечен и потушен, а сестре задали самую настоящую порку розгой; с этим методом воспитания мы все были знакомы. В зале происходили разные детские вечера с участием соседей, а также в нем на рождество делалась елка. Воспоминания, связанные с этим моментом, ярки у меня, как всегда у детей. Елку убирали взрослые, а мы не имели права выходить из задних комнат. За оборудованием и убранством для елки посылали нарочного в Саранск, но что именно привозилось оттуда было нам неизвестно. Тем более жадно ждали мы момента, когда, наконец, дверь, через щелку которой мы без успеха подглядывали за тем, что делается в зале, распахнется; и вот перед нами долгожданная елка, вся залитая огнями разноцветных свечек, вся покрытая золотистыми украшениями, золочеными и посеребренными орехами, хлопучками, разными подарками, то там, то тут загорятся иголки хвои, распространяя смолистый чад; какой восторг! Как приятно вытаскивать из хлопучек взрывчатую нитку, потом доставать смешные бумажные колпаки; как весело бегать вокруг елки, водить хороводы. В комнате много народу—родни и дворовых служащих; потом ряженые—дворовые, родные, соседи. Незабываемые картины.

Перед террасой, что выходила в сад, был небольшой цветник с обильным количеством роз, которые любила и искусно разводила мама; их было множество и в другом большом цветнике, который занимал середину сада. Сад был огромный, в несколько десятин. Часть его занимали яблочки и вишенник. По всем направлениям его прорезывали длинные аллеи из чудесных берез и тенистых лип. Одна из аллей шла прямо от террасы до реки, которая каналом была соединена с двумя небольшими прудами в саду. Сад был всегда прекрасен и был для нас источником бесконечных радостей. Весною мы наполнялись соками жизни вместе с зелеными листочками берез, с душистыми почками тополей, с белыми и нежно-розовыми цветами

яблонь и вишен, с желтенькими лютиками и одуванчиками, с лиловыми колокольчиками, с душистыми ландышами; мы пили весенний сок березовых веток, мы зашлись соловьев и малиновок, мы любовались золотыми иволгами.

Летом мы носились по саду, играя в волки; страшный волк, обыкновенно кто-нибудь из старших, бродит где-то по саду, мы идем, вздрагивая при каждом шорохе, опасаясь нападения; но вот он выскакивает из засады, бросается на нас, и с дикими криками ужаса мы несемся от него, а он настигает то одну, то другую свою жертву.

Вечером сад становится таким темным, таинственным, что никому из нас и в голову не придет гулять по нему разве что в компании с большими. Но вот в конце ужина на террасе кто-нибудь из дядей произносит страшные слова: «А ну-ка, ребята, кто из вас храбрый и пройдет лабиринт?» Лабиринт—это кусты акации, посаженные квадратами, благодаря чему между ними получились «комнаты». В них похоронены кости наших рысистых лошадей Рысачки и Любезной.

Идти туда ночью, на конец аллеи—брр, мороз пока же проходит. Отказаться невозможно, но и идти страшно. Слукавить бы, пойти до половины аллеи, постоять немножко (в темноте-то не видно) и вернуться. Да нет! Предсмотрено: дядя Федя берет свечку, уносит ее в лабиринт, кладет около нее спички. Надо дойти дотуда и зажечь в доказательство подвига. До сих пор помню эти сложные чувства борьбы страха с самолюбием.

Все лето яблоки, вишни, малина, крыжовник, смородина. Съемщики ставили в саду свои шалаши, около которых кучами лежали яблоки прекрасных сортов. Некоторые яблони не сдавались, и с них мы добывали яблоки самородные, наливные. Вишни поедались в вишневых зарослях, но верхом ребячьей радости были экскурсии в грунтовый сарай, где росли вишневые деревья. Грунтовый сарай представлял из себя большую выемку в земле; стены

ее были укреплены срубом; от краев последнего кверху шли стропила, а вместо крыши была положена сетка веревочная—от воробьев. Нас впускали в сарай на короткий срок—на 5 минут; кто с жадностью съедал вишен столько, сколько за это время успеет, а кто набирал их в шапку, чтобы наслаждаться ими по выходе из сарая на досуге.

В теплице пытались выращивать персики, а около нее расположены были парники с чудесными огурцами, редиской, салатом; вся эта зелень, конечно, была и в огороде, но в парниках она созревала уже ранней весной. Помню, как однажды я пошел на парники с матерью. Мы застали сторожа Петьку мирно спящим на солнышке около парников, его красная рубашка, туго подпоясанная поясом, сильно оттопырилась на животе. Когда мать окликнула его, Петька со сконфуженным видом вскочил на ноги, отчего его рубашка еще более оттопырилась. Мать строго спросила: «Петька, что у тебя за пазухой?» Петька стыдливо молчал. Но на повторный, уже более строгий вопрос последовал неожиданный ответ: «Да лягушки-с!»— «Как лягушки, зачем лягушки?»— «Да так, что от них, значит, прохладно-с!»

Вот так способ смягчить жару солнечного дня: прохладными телами наловленных в пруду живых лягушек!

Осень одевала сад в новые, невероятно разнообразные одежды; желтые листья клена и берез, коричневые листья лип, красные—яблонь, оранжевые ягоды рябин и боярышника придавали ему сказочную красоту, а звонкие голоски синиц, подававших свои возгласы: тинь-тинь-траврв, оживляли его тишину; изредка нарушал ее выстрел—это дядя Федя набрел на краю сада на пролетного вальдшнепа или дрозда. Вот начался листопад, и мы собираем на липовых аллеях огромные кучи листьев и затеваем на них беготню и игры в прятки.

А на полянах мы располагаем так называемые лучки, в которых «креем» синиц, щеглов и чижей.

Зимой сад завален снегом, и ходить по нему можно только по тропочкам, кое-где проложенным, да на лыжах а деревья стоят под инеем или под облепившим их снегом как какие-то сказочные великаны, опустив отяжелевшие ветки. Тронь одну из них, и тебя так и засыпет снегом который непременно заберется и за воротник полушубка.

На той стороне реки, к которой подходил сад, разрослась рощица тополей, ёлок, благодаря чему реку можно было считать протекающей не около сада, а через сад.

Река Аморда, запруженная около выхода из сада, была полноводная, глубокая, аршин 40 в ширину. Если взрослый человек, доплыв до ее середины, опускался ко дну ее поднимая руки кверху, то он уходил в воду с руками.

Начиналась речка верст за 15 от Михайловки, около Уды, где было сделано из нее 3 больших пруда в имени наших родственников Ольферьевых.

Около села Протасова она была еще раз запружена третья плотина была вблизи Тулебина, четвертая—около нас. Недалеко от нашего села река разделялась на два рукава и омывала небольшой остров, весь заросший по берегам, а по середине его был сенокос. На той стороне реки стояли молотилка и мельница с дранкой на верхнем этаже и птичий двор; «тот берег» представлял из себя широкую луговину, которая тянулась до самой тулебинской горы—довольно высокой протяженной гряды холмов.

С рекою связано было немало радостей. В ней было дивно купаться. У берега, еще в пределах сада, была поставлена купальня, соединенная мостиками со стоявшей на берегу раздевальней. В купальне был деревянный пол, глубина её по грудь взрослому человеку. В ней можно было плавать и устраивать разные водяные игры. А когда мы уже подросли, то из нее мы выходили в реку, где плавали, как утки, ныряли, играли в перегонялки. Нередко уходил купаться на тот берег, уже за садом, на тулебинский луг. На реке мы проводили часы. Особое удовольствие доставляла нам погоня за домашними утками, в которой не

изменное участие принимала сеттерэспаньель Милка или ее сын Май. К концу лета мы доводили уток до такой тренировки, что, завидя нашу голую компанию, мчавшуюся к ним по лугу, чтобы броситься к их стаду в реку, они поднимались на крылья и, как дикие, неслись, крикая, и почти стоймя летели к реке, где и шлепались в воду; такие же насильственные методы обучения авиации применялись и к курам. В конце концов против наших забав были приняты репрессивные меры, весьма энергичные.

Конечно, культивировался и лодочный спорт. Отец был большим любителем лодок, делал их сам; обычно мы помогали ему в конопачении щелей в лодке, для просмаливания которой около купальни висел над костром котелок с «варом»; много хлопот было и с окраской лодок масляными красками; отец требовал настоящей работы, нередко приходилось вести ее до «седьмого пота»; зато как приятно было броситься после нее в воду. Любили не столько лодки (на которых было приятно катать приезжих гостей, девиц и дам), сколько узкие челны, на которых можно было проехать вверх по реке версты на две-три до Жулебина. С вертлявого челна можно было и перевернуться.

Помню, как гостивший у нас дядя Абрам, один из старших братьев отца, пожелал прокатиться с нами в самый последний момент перед своим отъездом.

Сидевшее на берегу общество смотрело, как мы мчали его по реке, а тетя Настя выразила своим соседям пожелание, чтобы мы перевернули непоседу дядюшку. «Я бы им 3 рубля дала». Произошла «телепатия»: не успела она окончить фразу, которую мы, конечно, услышать не могли, как сеттер Май, сидевший с нами в лодочке, почему-то прыгнула в воду, и челнок перевернулся к великому хохоту зрителей и к нашему финансовому интересу.

Мне лично, как страстному в годы детства и юности рыболову, река давала много удовольствий. Большой рыбы

в ней не было, водилось много пескарей, гольцов, попла- лась уклейка, плотва; но главным аттракционом был лавль. Этой добычей не брезгают и заправские рыболо- вроде Аксакова.

С замиранием сердца подкрадывался я, бывало, к регу реки около сада или уже ниже плотины, к высоко обрыву. При ярком освещении видно, как здоровенные лавли лениво ходят под водой на глубине одного-двух шин. Тихо, чтобы не спугнуть сторожкого толстолобого лавля, забрасываю тонкую шелковую леску с крючком, живленным червем, к рыбе; она хватает крючок, и в э- же момент надо успеть «подсечь» голавля, пока он «выплюнул» крючок. Какое удовольствие тянуть добы из воды, какое огорчение, если она «сорвалась» или сб вала леску. На нашей реке не было трагических про шествий с людьми. Трагикомедия вышла только со мно

Приехали к нам в гости наши родственники Крыло и свойственнички Мечниковы. Мы проводили не без селя время с Виктором-Анри, сыном С. В. Лапунов приходившимся мне троюродным братом, и с Илюш Мечниковым (племянником знаменитого И. И. Мечни ва). Поиграли в городки, пошли купаться. Виктор пред жил игру—проныривать в купальне друг у друга меж ног. Мы все вели себя в этой игре корректно, а Викт когда я нырнул у него между ног, вдруг сдвинул ноги ущемил мне голову. Я вырывался, щипал ему икры, а крепко держал меня под водой, и я начал задыхать когда он меня, наконец, выпустил, я был вне себя от г ва и обиды. Брат и Илюша, которые вдвоем были я сильнее моего обидчика, устроили суд и приговорили В тора к наказанию: каждый из нас троих должен был нести ему удар в спину.

«Преступник» выдержал два сильных удара беспре словно, а когда я производил свой, он ловко увернулся мой удар пришелся по березе. Через десятки лет, вст тившись, мы много смеялись, вспоминая этот эпизод.

Трагический эпизод на реке был, но не с человеком, а с собакой.

Появление бешеной собаки представляет из себя в деревенской жизни громкое событие. Весть об этом опасном животном быстро разносится из села в село. Передают друг другу рассказы о том, что бешеная собака покусала в Жулебине девочку, а в Протасове — собак, в Воротниках — корову и т. д. Видели, как она с опущенным хвостом и с текущей изо рта слюной бежала в поле между Протасовом и Михайловкой. Родители прячут детей, а мужчины вооружаются вилами, топорами, кто имеет — ружьем и идут на поиски врага; в конце концов собаку убивают, убивают и укушенных ею животных, а людей отправляют на прививную станцию; но нередко из укушенных, которых вовремя не обнаружили, появляются новые бешеные. И бешеная собака, а особенно бешеный волк, который нанес особенно опасные укусы в лицо, является для деревни источником ужаса, почти мистического. Однажды, когда я был еще совсем маленьким и был еще на руках у кормилицы, появилась очередная бешеная собака, и притом без всякого анонса. Она вбежала в сад, кормилица, увидев неизвестную собаку, помчалась со мною к стоявшей недалеко бане, но спасения не было; вдруг верный друг появился на помощь. Это был пудель Брэмка. Он ринулся на врага и сцепился с ним в лютой схватке. Кормилица успела добежать до бани и спасти себя и меня; прибежали люди, убили бешеную собаку. Брэмку, возбужденного борьбой, взъерошенного, тщательно осмотрели, но, к счастью, не нашли на нем ни единой царапины. Густая курчавая шерсть спасла его от страшных зубов. К общей радости, Брэмка не сбесился. Через несколько лет этот любимец семьи погиб, к общему горю, в реке. Весной, когда лед вскроется, плотину спускали. Переполненная серой, мутной водой, которая стекала в реку со всех сторон, Аморда неслась и крутилась в водоворотах льдин, которые, сталкиваясь друг с другом, мчались вниз по

течению. Зрелищем любоваться шло все население усадьбы, конечно, вертелся среди зрителей и Брэмка. И вот кто-то из молодых людей кинул в реку палку. Брэмка был приучен доставать палку и на глазах у всех утонул, затираемый льдинами, в водоворотах реки.

... Занятно было смотреть на ледоход и на разлив реки, которая затапливала часть сада и луга того берега до самой жулебинской горы. Занятно было и посмотреть, как реку запруживают.

Вот разлив реки, нараставший в течение нескольких дней, начинает заметно спадать. Уже на луговине на том берегу остаются только отдельные лужи, а в промежутках между ними видна не зеленая трава, а широкие площадки грязи и ила, нанесенного водоподем. Река вошла в берега, и уровень воды опускается все ниже и ниже, и вскоре наша красавица Аморда приобретает вид жалкого мутного ручья, протекающего на дне глубокого оврага крутыми, покрытыми илом берегами. Делать плотину еще нельзя: слишком грязно. Но вот прошло несколько дней, подсохло, и пора приступить к делу. После совещания отца с управляющим и другими сведущими людьми из дворовых решено сделать так называемую «помочь» т. е. пригласить на работу крестьян. Хотя плотину и спустили к моменту водополья, но вода размывала берег, и образовалась брешь около устоев плотины; так называемый лежень — толстое и длинное бревно, целый ствол дерева лежащий поперек оврага как основание плотины, к счастью не унесло, а только подмыло. Эти прорывы и надлежало заделать при помощи хвороста и соломы, которые были заготовлены для этой цели в огромных количествах на берегу. Дружными усилиями десятков людей хворост и солома были свалены в реку, засыпаны землей, утрамбованы. Потом ворота плотины были спущены с ее места вниз, и, таким образом, путь для воды прекращен. Вся эта работа носила шумный, веселый характер, была полна оживлением. Это последнее еще усиливалось от изрядной вы-

пивки по достижении результата. Народ разошелся по домам, а река опять начала наполняться, вода очищаться от ила, и через 2—3 недели наша Аморда приняла свой прежний красивый вид; в спокойной прозрачной воде ее опять стали отражаться ивовые кусты и березы, покрытые зеленой свежей листвой.

А запруженная река, побурлившая и поигравшая в водополье, принялась опять за свою обязанность—приводить в движение мельницу и молотилку водою, которая отведена была в эти учреждения по широкому, сделанному из досок протоку-каузу. Преинтересно было смотреть, как сынется рожь из деревянного, слегка качающегося конца на жернов и выходит из него в виде белой муки, такой мягкой на ощупь; ароматной и приятной на вкус. Но еще интереснее, конечно, молотилка. Огромное маховое колесо приводит в движение так называемый «барабан», который вертится с бешеной быстротой; подавальщик подсовывает под его зубцы снопы; барабан выбивает из колосьев зерна, которые сыпятся вниз, где попадают в «сортировку»—аппарат для отделения от мякины, а солома уходит своим путем на «солотряс», где из нее вытряхиваются остатки зерна и сваливаются вниз к выходу из молотилки; здесь она попадает на веревки, привязанные к хомуту лошади; когда ее накопится достаточное количество, концы веревок перекидываются через образовавшийся возик соломы, завязываются, и лошадь везет солому к омету, который растет и в длину и в высоту с каждым новым возом соломы. В молотилке занято много народу: женщины развязывают снопы и подают их подавальщику, который должен иметь большой опыт в своем деле: чтобы и сноп вымолотился и чтобы руку не подsunуть под барабан, да чтобы и барабан все время получал снопы; у хорошего подавальщика барабан дает ровный глухой шум; а если под ним нет снопа, то получается резкий, довольно звонкий гул, точно завывание. Шум и пыль в молотилке отчаянные, в волосах и бороде колосья, солома. Отец—любитель работы на моло-

тилке, и его часто можно видеть за барабаном в роли искусного подавальщика. А мы вертимся везде, шныряя туда и сюда, но главное наше удовольствие—это возка соломы к омету. На том полуострове, на котором стоит мельница, вся площадь земли занята ометами соломы. Это великолепная база для игр. Мы взбираемся на вершины высокого омета, чтобы покувыркаться там, мы закапываемся в солому и играем в прятки, мы скатываемся с омета с риском сломать шею или спину. Солома для нас такая же родная стихия, как река. Из реки мы окунаемся в соломенную стихию, а из соломенной стихии—в реку! И так на протяжении многих лет детства и юности.

Занятно посмотреть и на работу дранки. Она расположена на втором этаже мельницы. Мельничное колесо приводит в движение вертикальный вал, на верхнем конце которого имеется горизонтальное большое колесо, которое своими кулаками приводит в движение через систему шестерен два металлических вала; зерно, которое сыпется в них, расплющивается ими. Когда работает мельница, дранка стоит неподвижно благодаря вставлению клина.

На дранке расплющивали, между прочим, овес, из которого после этого варили овсянку для борзых собак. Это дранка чуть не стоила мне жизни. В порядке, так сказать текущих дел мы забрались на дранку и, покидав оттуда пойманных кур и для обучения их летному делу, порешили попробовать, не удастся ли нам свернуть колесо, чтобы пустить дранку. Каждый из нас троих сорванцов ухватился за кулак колеса, и по команде мы дружно налегли на него. Очевидно, клин внизу выскочил, и колесо двинулось. Я не успел опомниться, как колесо, за которое зацепилась рукавом моя рубашка, повлекло меня и я должен был очутиться между ним и стеной в узеньком пролете, где меня немедленно постигла бы смерть—я был бы раздавлен. Сколь ни гулял в моей голове ветер, но я остро осознаю опасность—я сделал отчаянное усилие оторваться от колеса. Это удалось мне в нескольких вершках от щел

благодаря тому, что рубашка лопнула. Не будь этого, не было бы меня на свете. Даже теперь страшно вспомнить! Припоминая разные эпизоды неосторожности, удивляешься, как удалось не погибнуть в детстве!

Один конец дома был соединен коридором с кухней. Там можно было поживиться вкусным в не узаконенное для еды время. Из поваров помню молодого малого Петьку. Готовил он неплохо, в то же время был находчивым в трудные хозяйственные минуты. Например, если внезапно придут целым семейством соседи в час обеда. Шутка ли, накормить неожиданно нагрянувших гостей. С Петькой моя мать могла быть спокойной — у него всегда хватало кушаний на всех. Количество супа увеличивалось методом куража его с горячей водой, а вкус, пострадавший от этой операции, исправлялся прибавлением зелени и перца; немалое значение в процессе претворения воды в суп имела магическая формула, произносимая Петром: «Господа не свињи, все съедят!» Петька славился также изумительным приготовлением клецок. Техника его долго оставалась неизвестной, пока не была случайно обнаружена матерью. Она состояла в следующем: приготовив клецочную массу, Петька сажал перед собою поваренка Ваньку и ввергал ложкой в открытый рот последнего определенное количество указанного материала. Комбинируя сокращение мышц щек с движением языка и рта, Ванька оформлял сырье и извергал его в виде полуфабриката в кипящий бульон. Раскрытие технической тайны приготовления клецок привело к исключению супа с клецками из списка кушаний в нашем семействе.

У другого конца дома был расположен большой флигель, одна половина которого была занята кладовой, а другая — столярной мастерской. Займу читателей на несколько минут мастерской. В этом учреждении кипела работа. Столяр и его подмастерья пилили, строгали дерево рубанком и фуганком, сверлили коловоротом, сжимали брусья, рейки и доски струбцинкой, варили столярный

клей в печурке, крыли изделия лаком и политурой; вся комната была засыпана стружками и опилками — в ней было трудно пройти между верстаками и полуготовыми и готовыми стульями, столами, шкафами; понятно, что для нас столярная была преисполнена содержания. Частым гостем в ней был и отец, но не в качестве наблюдателя, а в роли превосходного столяра; он делал многие предметы превосходно. Столяры были для нас всегда авторитетом, особенно Алексей, который умел делать все, даже музыкальные ящики, так называемые аристократы, которые исполняли произительными звуками вальсы «Дунайские волны» и «Невозвратное время». У Алексея я научился кое-каким начаткам столярного искусства.

Скотный двор сравнительно мало привлекал нас, но конюшня и конный двор были объектом нашего постоянного интереса. Мы превосходно знали всех лошадей — и упряжных, и рысистых, и рабочих. Мы знали, от каких производителей какая лошадь происходит, как какую зовут, какие у какой качества и недостатки и внешние и функциональные. Еще мальчиком я умел запрячь и оседлать лошадь (из относительно спокойных) и ездить и на одиночке и порой даже тройкой; верховая же езда была, конечно, основой нашей любви к лошади. Какое удовольствие мчаться в перегонки во весь карьер с братом и сестрою по ровной дороге, а еще лучше по скошенному лугу, что находится за деревней. Спорт этот обходился не без травматических повреждений, и мне доставалось, и серьезно, переломать левую руку при падении с лошади. По краям двора расположены были кузницы, псарный двор, где помещались борзые собаки... За пределами двора жил замечательный слесарь Николай Морозов. В полуверсте от усадьбы находилась земская больница, которая была выстроена на земле, отведенной для нее моим отцом. Отец сам много лет был земским врачом в больничке, которая помещалась в усадьбе. Но около 1882—1883 годов, когда была выстроена новая больница, он оставил служ-

бу земского врача, и она перешла к его брату, нашему любимцу дяде Феде.

Дорога в больницу шла через так называемую сажалку. Это был выкопанный пруд, который питался водой из небольшого ручья. Вокруг этого пруда росли ивовые кусты и ветлы, а в его тихой воде, окаймленной осокой, было карасиное царство. Их, когда было нужно, ловили бреднем. Но это шумное занятие доставляло меньше удовольствия, чем ловля удочкой. На ужение карасей, которым мы все увлекались, приезжал нередко из Воротникова, что было в 3—4 верстах от нас, наш уважаемый сосед Алексей Дмитриевич Панов, красивый гусар в отставке. Карася ловить на удочку очень приятно. Он «клюет» без фальши: вот поплавок встал наклонно, два-три раза погрузился до половины своего тела в воду и затем двинулся в какую-нибудь сторону ровным движением — карась схватил крючок с дождевым червяком и «повел» его; «подсекаешь» и тащишь на натянутой леске серебристого или золотистого красавца карася, который достигает иной раз величины ладони взрослого человека. В некоторые вечера, теплые и тихие, налавливали, бывало, до сотни карасей на две-три удочки.

В нескольких верстах от усадьбы располагается отделенный от нее пахотными полями лес, десятин в 50, в котором находился пчельник; другой, так называемый «Минев пчельник» был расположен в вершине одного из овражков, прорезывавших поля, около небольшого болота.

Как прекрасны вы, поля, как чудесен ты, лес, как дивны вы, небеса, как волшебны вы, облака, как загадочны вы, звезды, как таинственна ты, луна, как изумительна ты, природа! Сколько раз ты брала мою душу на свои руки и качала ее в минуты детской радости и укачивала ее, старую, большую, в часы горя и страданий!

Многие изображали тебя, мать моя природа, и вдохновенным словом, и дивными красками, и хватающими за сердце звуками.

Вот идет по твоему лесу охотник, великий мастер слова; он забыл и о ружье, и о собаке, и впивается жадным взором в трепет солнечных бликов на белых молодых березках и пытается воплотить в плавной речи всю красоту твоей лесной чащи.

Вот другой твой обожатель, природа, носится мыслью, как орел, над твоими равнинами и уже не может говорить от восторга, а только восклицает в бессилни: черт вас возьми, степи, как вы хороши! А эти двое? Что так задумались они? Они ушли мыслью в глубь сердца своего и ищут там созвучные слова, чтобы придать ими силу выражению своей любви к тебе, природа! Один—черноглазый и смуглый—уже не вспыхивает яркими взрывами мысли, как вчера в кругу веселых друзей; нет, он широко раскрыл очи на золотые и красные листья твоего осеннего наряда, природа, и в оцепенении шепчет: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса!» А другой замер от восторга, глядя на озаренные солнцем снежные вершины горного хребта и шепчет в конце каждой вдохновенной строфы: «Люблю я Кавказ!» А вот и еще труженики; эти не говорят и не шепчут, они только чувствуют твое солнце, твою синеву, твою зелень, твою луну и лихорадочно кладут краски на полотно, чтобы схватить выражение твоего лика, пока ты не скрыла его под лучом света или под тенью облака. Вот этот большой бородатый напишет твои дубы могучие до последней веточки, до малой морщинки на коре; этот расцветит твое изображение яркими контрастами, а этот напишет спокойными тонами тебя и вложит в них и свою нежную душу. Все тебя пишут по-разному, и у всех выходит хорошо. Все это были твои тихие поклонники. А вот эти переводят на язык ангелов. Один, глухой, слышит и без ушей твои голоса и заставляет бурей звуков видеть тебя, не видя! А этот нежный русский волшебник может своими мелодиями и аккордами принудить нас пережить и зиму, и весну, и лето, и осень...

И смею ли я после этих титанов искусства воздать хвалу твоей красоте, природа? Я по твоим глазам угадываю твой ответ. Ты киваешь мне и говоришь: да, можешь! Все вы, и великие и не великие, мои милые. И люблю я и вдохновенное слово мужа, и лепет ребенка. А ты, старый, сейчас ребенок, потому что вспоминаешь и меня, и себя, каким ты был давно-давно. Помнишь, как маленький Тютчев говорил самому себе старику: старче, старче, разве ты не я? Ну и вспоминай меня по-детски, как можешь!

Зима. Тимофей Федотович утром пришел к нам с тем веселым выражением лица, по которому мы уже сразу догадываемся, что поездка в поле с собаками, о которой мы мечтаем уже три дня. Мы допиваем торопливо чай и бежим одеваться. Валенки, как всегда в таких случаях, не сразу налезают на ноги, полушубочки не застегиваются на крючки, башлыки слишком туго давят шею. Но после треволений и протестов против стремления старших укутать нас потеплее, мы наконец собраны и вваливаемся в розвальни, на которых лежит ворох соломы, покрытой ковриком; лошадь запряжена крепкая; за зиму она обросла волосами и кажется мохнатой. Мы едем с Иваном, а на других розвальнях устраивается Тимофей с тремя борзыми. Пороша не очень хорошая, она легла на наст и ее кое-где сдуло ветром, последить зайца можно. И можно ехать и полем, без дороги, так как снег неглубокий. Заячий след взяли от деревенского гумна. После ряда петель он пошел в поле по направлению к лесу. Розвальни оставили на Ивана, а сами пошли пешком. Двойку (сдвоенный след, указывающий, что заяц скоро ляжет) нашли не скоро; вот заяц сделал скидку, то есть прыгнул с своего сдвоенного следа; в некотором отдалении от нее опять пошел след, сперва одиночный, потом двойка. Снова скидка, и опять след, двойка. Мы уже утомлены; но вот у Тимофея, нашего знаменитого следопыта, выражение лица делается серьезным и таинственным. По ему известным признакам он предупреждает, что заяц залег

недалеко. И действительно—еще одна двойка, еще одна скидка, и здоровенный белый русак как-то внезапно выпрыгнул из снега и понесся к лесу, за ним собаки; с охотничьими возгласами: «У его, ту его»—мчались и мы, проваливаясь сквозь талый наст. Удачи не было. Зайцу было легко бежать: наст его держал, а собаки и на наст проваливались и задерживались на увалах, на наст небольших сугробах или в овражках, занесенных снегом. Заяц ушел. Большого разочарования не было. Тимофей предупреждал, что охота будет не настоящая—так, собачек размять. Добрались до розвальней, а на них до лесу. Охотничий интерес угомонился, и нас, несколько утомленных, начинает охватывать власть природы. Лес весь под снегом. Огромные комья его легли на ветви деревьев; изредка сваливаются они с сучьев вниз, образуя на снегу ямки. В лесу тихо, тихо; лучи солнца дают игру желтоватых пятен света и голубых теней. Дороги в лесу нет, и мы не идем от опушки вглубь. Мы все невольно затихли, даже собаки стоят неподвижно, точно ждут чего-то. Лес как зачарован, а мы очарованы им. Но вот возглас Тимофея кончает очарование, и мы едем, лежа на розвальнях, домой по ровной, укатанной дороге. Розвальни идут ровно, изредка раскатываясь. Я лежу в оцепенении, но не от усталости и не от холода, а от простора полей, которые незаметно сливаются с небом; далеко впереди видны в легком тумане жулебинские горы. Деревня и усадьба тоже в легком тумане дым из труб домов идет прямыми серыми столбами вверх. Уже не рано, день близится к концу, и высоко в небе видны вороны и галки, возвращаемся в селение на ночь лег. Моя душа в созерцательном настроении, не хочется ни говорить, ни даже думать; даже не сразу хочется выйти из розвальней у крыльца дома.

Ранняя весна. Я еще мальчик лет 7—8. В лес приехали уже на колесах по грязной дороге; в лесу еще много снега, но он, как и на полях, быстро тает. Мои ноги, в болятых сапогах, при каждом шаге проваливаются и ока

ываются в полужидкой массе, состоящей из рыхлого снега и воды; под снегом желтые, осенью опавшие листья и еще не начавшая зеленеть осенняя трава; местами проталины, уже освободившиеся от снега, а кое-где уже журчат ручейки — прозрачные-прозрачные, холодные. Лес из молодых лип без листьев, освещенный солнцем, кажется каким-то сквозным. Сквозь голые ветви видно небо необычайно чистое, светло-голубое. Кое-где на деревьях видны вороньи гнезда, еще без птенцов; вороны, обеспокоенные нашим присутствием, летают туда-сюда, садятся на ветки, которые под ними сгибаются и качаются, и через несколько секунд опять с карканьем улетают. Я полон невыразимой радости жизни, чувства слияния и со снегом, и с деревьями, и с воронами. На полях большие проталины — где зеленоватые, где желтые, где черные; оставшийся снег ярко блестит на солнце; по овражкам буйно текут ручьи, вода в них уже не прозрачная, а от стремительного бега — мутная; сливаясь, ручьи несут воду со всех сторон в Аморду, лед на которой потемнел, вдоль берега залит водой, кое-где он отошел от берега, кое-где треснул — вот-вот тронется.

Весна!.. А там снова лето, и так на протяжении многих лет, пока не наступит время обучения.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О СИМБИРСКЕ

В 1882 году, когда мне было семь с половиной лет, семейство наше переехало из Михайловки в Симбирск, где нас с братом определили в гимназию и где отец получил место врача-хирурга и окулиста в губернской больнице. Путь в Симбирск, до которого было 200 верст, мы совершили на лошадях.

Нашу первую квартиру в Симбирске во втором этаже дома Абутова по улице Покровской помню очень хорошо, но первые дни меня не оставляло чувство тесноты,

сменившей просторы Михайловки в Мордовии, впрочем, скоро по привычке.

Брата отдали во второй класс, а меня по возрасту — в подготовительный, а через год — в 1 класс.

Впечатления от города Симбирска были совершенно затоплены впечатлениями от гимназии. Серая куртка, синяя фуражка с серебряными дубовыми ветвями на околыше, ранец с крышкой из светлой кожи, кожаный пояс с бляхой — все это надо пережить. А впечатление в классе! Тишина на уроках и какой галочный крик на переменах!

От первого года пребывания в гимназии осталось приятное и веселое общее впечатление. Но к весне началась тоска по родине — по Михайловке.

Наш тракт от Симбирска до Михайловки под Саранском шел через Титюши, Урен, Кондраты, Промзино.

90 верст отделяло Промзино от Михайловки. Близ Жулебина мы уже не можем сидеть, стоим и наконец орем: «Ура, ура, Михайловка!»

Милая встреча родных, объятия, летучие вопросы, а дальше три месяца блаженства земного рая. Ловля рыбы, купание, игры в лапту, езда на лошадях. Но пролетели дни отдыха, и снова сборы в гимназию.

Центральное место в нашей Симбирской жизни было гимназия (ныне школа № 1 имени В. И. Ленина в Ульяновске). Она состояла из двух помещений, соединенных между собой: в первом здании — классы для подготовительных до перехода в 8 класс и квартира директора. Вторая половина здания представляла из себя прекрасное помещение со светлыми классами, актовым залом и коридором. Первым директором при мне был, до перехода в 7 класс, Федор Александрович Керенский, а затем сменил его некий Свешников — высокий, худой, лысый, с претензией сановника, типичный чиновник. Он сразу был оценен всеми отрицательно. При нем заведены были шпика. Он любил вызывать гимназистов в актовый зал для обличительных проповедей по поводу каких-нибудь собы-

тний в нашей среде, и мы долго вынуждены были выслушивать его речи, в которых он подражал то Цицерону, то современным императорам, стараясь выиграть имевший место скандал как начало политического деяния.

Однажды, гроя нас, он воскликнул: «И при таких ваших поступках из вас выйдут цареубийцы!» Оратор не учел, что в гимназии учились в то время сыновья предводителя дворянства кн. Оболенского и губернатора Теренина. Они обиделись, и карьера его пошатнулась. Инспектором нашим был И. Христофоров — человек довольно добродушный, хотя нередко десница его карала нас оставлением без обеда.

Для приходящих инспектор имел меньше значения, чем для пансионатов, которые бывали наказуемы даже лишением отпусков к родным. Помню, я однажды усердно был занят во время уроков переписыванием стихов про какого-то Агафона (кажется, сочинения Баркова). Я не учел, что дверь в класс была остекленная. Вот она распахнулась, быстро вошел инспектор и, раньше, чем я успел встать со всеми, накрыл рукой мое рукописание и унес его.

Потом я был вызван, разгромлен, но в течение нескольких лет, встречая меня в коридоре, Христофоров добродушно спрашивал: «Ну, что, Агафон, как учишься?» Видно, приключения Агафона ему понравились.

Классные наставники были разные. Мой класс вел учитель латинского языка Федоровский. Над классом тяготела его десница не столько вследствие его придирчивости, сколько вследствие качества занимаемой должности. Это вроде должности фининспектора. Разве можно любить, даже ненавидеть фининспектора? Так и классный наставник почти всегда фининспектор над душами и телами учеников, психинспектор. Ничего особенного Федоровский мне не сделал, но удивительно, что я нередко видел его во сне, даже в возрасте 50—70 лет.

Учителя были самые разнообразные, но плохих, безобразных не было. Бывали скучноватые, у тех или иных гимназисты подмечали те или иные смешные черточки, но и только. А были очень хорошие учителя.

Так, отличным и справедливым был математик Надеждин. В 5 классе я заработал у него 2. «Неужели вы думаете, Филатов, что вы перейдете в 6 класс при таких математических знаниях?»—сказал Надеждин мне. Перед самым экзаменом он вызвал меня. Услышав мой ответ, он молча пожал плечами и поставил 4. Мой письменный ответ он прочитал и поставил пятерку.

Превосходным учителем был историк Николай Сергеевич Ясницкий. Он необычайно живо излагал нам историю, значительно дополняя учебник Иловайского.

Преподавание в нашей гимназии не было плохим. Главным его недостатком было отсутствие единения между учениками и учителями. Это не поощрялось начальством. Думаю, напрасно: отсутствие единства, конечно, вредило нашему умственному и моральному развитию.

Мои ранние учебные годы связаны с воспоминаниями некоторых приятелей: Садовникова, Дмитрия Ульянова, с которыми я потом встречался в Одессе; с 4 класса уже появились умственные запросы, интересы к чтению не только Майн Рида и Жюль Верна, но и Белинского и Добролюбова. В нашей гимназии учились Владимир Ильич Ульянов, Александр Ильич Ульянов и Дмитрий Ильич Ульянов. Их пребывание в Симбирске оставило глубокий след в гимназии и городе. Семья Ульяновых имела большое влияние на демократическую часть населения в отношении развития передовых революционных идей. Мой отец, бывая в этой семье как доктор, тепло рассказывал мне об этой замечательной семье.

Под влиянием революционно настроенных учащихся в классе читали подпольную литературу. Это влияние сказывалось на общем моем развитии.

Гимназия давала мне много в общем образовании.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ.

Переезд мой в Москву имел основанием учебу на медицинском факультете. Я начну описание моей московской жизни с моих студенческих интересов.

Когда я вспоминаю годы моего студенчества, я испытываю чувство некоторого сожаления о том, что не достаточно глубоко использовал тот источник знания, который представлял из себя медицинский факультет Московского университета в конце прошлого столетия. Он был тогда в пору своего полного расцвета. Ряд крупнейших представителей медицинской науки поставил ее и преподавание в ней на высокий уровень, к культурным методам Запада прибавив свои широкие взгляды и навыки. Московская медицинская школа, как и вся русская медицина, получала свои соки от Пирогова, Боткина, Захарьина, Сеченова, а могучая крона ее питалась из атмосферы необычайного научного развития русской науки той эпохи, славу которой давали Менделеев, Столетов, Тимирязев и многие другие.

И если я не сумел впитать в себя все то, чем питали меня мои учителя, то по молодости и незрелости.

Я окончил гимназию в Симбирске 17 лет и еще с психологией мальчишки попал в университет. Гимназия не привила мне способности оценки серьезного значения науки, глубокого уважения к ней и ее светочам. И когда я был принят благодаря помощи моего дяди проф. Н. Ф. Филатова в Московский университет (из других учебных округов туда студенты не принимались), я почувствовал себя растворившимся в атмосфере московских впечатлений. Масса родственников, знакомства, неистовое увлечение спортом, особенно лаунтеннисом у Филатовых (во дворе клудовской детской больницы), бильярд, пиво, галерка в оперных театрах, музеи, кухни, одним словом, любовь и цветы. Все это смешалось в одну кучу с анатомией, товарищами, студентами, профессорами, лекциями медицинскими и немедицинскими.

Удивительно, что в этом винегрете переживаний я все же ухитрялся выуживать и медицинские знания. По счастью, для меня безалаберная жизнь через два года в значительной мере успокоилась, чему способствовало и влияние на меня некоторых моих родных и товарищей — Б. М. Житкова, Д. П. Филатова, В. Н. Глассена, В. В. Волкова.

Но плохая подготовка по предметам первых двух курсов сказалась вредно на прохождении и остальных трех. Знания, которые давались мне с клинических кафедр, лежали не на прочный фундамент физики, химии, физиологии, а так сказать, на песок.

Но хотя я и не сумел получить от медицинского факультета всего того, что я мог получить, тем не менее приобрел очень много. Если я и не усвоил очень много из того, что мне говорили и что мне показывали мои учителя, но пока они это делали с присутшим им талантом, то в это время, следя за их увлекательной речью или любуясь их изящным опытом или операцией, я испытывал порыв творчества, я упражнял свою мысль. Навсегда моя душа населена их образами, и воспитательная сила их влияет на меня незаметно и по сие время.

Разве помним мы через многие годы все, что пел нам когда-то дивный певец, все, что играл нам великий пианист, что было изображено в игре тонкого драматического артиста. Мы не сможем повторить слышанное. Но они прикоснулись к нашей душе и оставили в ней навсегда след. Навсегда повлияли на ее формирование и своим творчеством, и своим образом.

На склоне моей жизни я все чаще и чаще переживаю старую книгу моей памяти, потемневшие страницы их местами рассыпались от ветхости; я осторожно сдуваю с них пыль и стараюсь разобрать на них дорогое мне слово, милое мне лицо. Вспоминая моих наставников, я делаю это прежде всего для самого себя — мне приятно побыть в их близости и почувствовать, как где-то в глубине моей души начинает журчать ключ молодости.

Я фиксирую мои воспоминания на бумаге, чтобы поделиться ими с другими людьми, которым не чужды интересы медицинской культуры.

Из моих современников, товарищей по факультету, вряд ли кто прочитает эти строки, которых я и сам не увижу в печати. Но они представляют живой интерес для тех, кто учился в Москве и после меня, так как многие из моих учителей продолжали свою работу около 20 лет и более, а иных сменили такие преемники, которые в мое время были молодыми питомцами Московской школы, усвоившими все ее дорогие принципы.

Тем, кто не принадлежал к Московской школе, а также эпигонам ее мои воспоминания дадут некоторый материал для характеристики этого крупного потока русской медицины. Я оговариваюсь, что мои воспоминания — не критический или аналитический очерк Московской школы, а весьма субъективное описание медицинского факультета, по преимуществу, в том виде, в каком он мне представляется через призму тогдашнего моего мировосприятия.

Краеугольным камнем 1-го курса медицинского факультета являлся, если так можно сказать про человека, проф. Дмитрий Николаевич Зернов, преподававший анатомию человека и нам, медикам, и естественникам.

Редко можно встретить на кафедре такого изысканного человека, как Зернов. Он производил сильное, как выражаются, импонирующее впечатление. Он всегда был прекрасно одет — в сюртуке хорошего покроя, в белом жилете. Холёное лицо его, окаймленное аккуратно подстриженной бородкой, украшали чудесные темные глаза, он имел привычку смотреть несколько вниз, но когда он «вскидывал глаза» на собеседника или на аудиторию, они как бы озаряли его красивое лицо. Читал он превосходно, с демонстрацией прекрасных картин и препаратов. Говорит, что он был человек нервный и вспыльчивый. Я никогда не видел на его лекциях, которые посещал аккуратно, никаких вспышек или неровностей его характера.

Но мне рассказывал проф. Лысенко о двух эпизодах на его лекциях, где нервная система Зернова дала взрыв. У Зернова был служитель Иван, переименованный кем-то когда-то и почему-то в Жана, очень полезный ему. Зернов, несмотря на то, что тот был смертный пьяница, ценил его. Однажды Жан должен был принести из шкафа, который расположен был в аудитории вверху, препараты на кафедральный стол. Жан поставил банки на поднос и начал спускаться по лестнице вниз. Зернов, читавший лекцию, опытным глазом сразу увидел всю опасность путешествия Жана, да она была очевидна и для аудитории: Жан был явно пьян, он покачивался, стараясь сосредоточенно сохранить равновесие, покачивался в его руках высоко поднятый поднос, и покачивались и ездили на подносе банки. Зернов прервал фразу о расположении какой-то кишки возгласом: «Жан, что ты делаешь, не урони банки, остановись!», на что последовал успокоительный, заплетающимся языком произнесенный ответ Жана: «Ваше превосходительство, не беспокойтесь, донесу в аккурате». И вслед за сим Жан загремел вниз по лестнице вместе с подносом и препаратами, а над звоном разбитых банок прогремел возглас профессора с упоминанием родительницы почтенного Жана. Правда, восклицание это мало вязалось с джентльменской фигурой профессора, но никто не осудил его за это.

Другой взрыв был по поводу часов, которые висели на стене аудитории против кафедры. Они требовали особой таблицы поправок показываемому ими времени: так, когда на них было 2 часа, то это значило, что на самом деле было только 12 с четвертью, и, кроме того, у них был отвратительный, хриплый, медленный бой.

Зернов не терпел их и запретил заводить их. Но кто их однажды завел. И вот во время лекции Зернов заметил, что они идут. Уже это вызвало в нем раздражение и он уже с недостаточным красноречием описывал кость которую держал в руках. И вдруг часы забили. С нена-

вистью смотрел на них Зернов. Вот часы показывают 3 часа, пробили 4, 5, 6 раз. Зернов остановился и ждал окончания боя с мукой на лице, а часы били 6, 7, 8, 9, 10, 11 и — о ужас! — пробив 12, они продолжали преспокойно бить 13 раз. Зернов остолбенел, а при 14 ударе с невероятной силой и меткостью запустил в злосчастные часы большеберцовой костью, к изумлению и радости аудитории.

Зернов был крупным анатомом, автором превосходного руководства описательной анатомии, очень широко распространенного.

Прозекторами Алтуховым и Наружиным студенческие занятия в анатомическом зале были поставлены прекрасно; да и служители, а служители для студента много значат, были неплохие. Знали неплохо анатомию, иной раз помогут при препаровке; случится нерв перерезать — сошьют ниткой, замажут кровью — сдавай прозектору не смущаясь; перепали им, конечно, полтинники и рублишки. Все они были не дураки выпить, чем особенно отличался упомянутый выше служитель Жан. Жан был уже немолод. Зернов к нему привык, да и действительно как анатомический служитель он был очень полезен. Пил он ужасно, говорят, даже спирт из банок с препаратами, но Зернов его терпел. Через несколько лет, уже будучи на пятом курсе, я встретил Жана в психиатрической клинике профессора С. С. Корсакова. Происшествие, которое вызвало переезд Жана с Моховой, где помещался анатомический театр, на Девичье поле, было особенное. Однажды Жан, пивший недели две запоем и уже прекративший пить, проснулся утром в отличном настроении и начал вставать. Спустил он с своего ложа босые ноги, надел на левую ногу валенок, только что хотел обуть правую ногу, как вдруг увидел нечто удивительное: на тыле стопы его босой ноги сидит маленькая русалка...

Когда он осознал, что его хотят вести к профессору Корсакову, он не протестовал, но обуть себя не позволил.

Он пошел, выступая босой ногой на пятке в швейцарскую, к выходной двери. Никакие уговоры не подействовали и на извозчика, который ожидал уже у выхода, он сел с босой ногой, осторожно установив ее под полостью, и защищал ее от ног соседа. Было 20° мороза.

Жан скоро вылечился и вернулся к Зернову.

Этот эпизод я как-то рассказал писателю Югову, который ввел его в одно из своих произведений.

Если анатомия была настоящим предметом основной медицины, то остальные дисциплины первого курса имели характер подготовительных для дальнейших курсов; нам преподавали химию, физику, ботанику, зоологию, минералогию; особо стояло богословие, которое мало кого интересовало и которое надо было сдать по какому-то учебнику на 1 или 2-м курсе. Нечего и говорить, что хорошее прохождение указанных выше предметов могло бы быть очень полезно для нашего развития, особенно изучение физики и химии. Но так уж повелось, что проходились они большинством курса не очень усердно. Минералогию читал доцент, фамилию которого забыл. Я всячески отлынивал от этого скучнейшего предмета, состоящего в изложении лектора из какой-то смеси углов, граней и плоскостей, симметрии и ассиметрии каких-то кристаллов. К довершению скуки наш лектор, может быть, и вполне ученый и знающий (я не имею права его упрекнуть), имел несчастный дефект речи: ко многим словам он прибавлял звук «а»; если он произносил «агрань, асера», то было понятно, что он говорил «грань, сера», но когда он говорил о плоскостях ассиметрии и симметрии, прибавляя и к слову «симметрия» звук «а», то получалась такая белиберда, что вяли уши. Сдавали экзамены кое-как, по конспекту. Ботанику неплохо читал профессор Горожанкин, и из его лекций и из учебника Бородина, очень хорошего, и из практических занятий в ботаническом саду у Артари кое-какие сведения по ботанике остались, но именно кое-какие, потому что я интересовался ею поверхностно. Зооло-

гия была явно второстепенным предметом. Часть ее нам читал в помещении зоологического музея естественного факультета сам знаменитый Анатолий Богданов, в то время уже почтенный старец, и от его лекций, особенно про глист, кое-что усвоилось.

Другой лектор — красивый брюнет греческого типа А. Н. Зограф читал спустя рукава, чувствовалось, что чтение своего предмета медикам он считает не в коня корм; он заботился больше о том, чтобы на лекции было весело, без конца острил и любил преподносить неожиданности, относя, например, лошадь к медицинским животным потому, что, мол, медики, развивши частную практику, заводят себе пару лошадей и т. п. Зоология не шла мне в голову.

Химия на первом курсе неорганическая — предмет крупный и важный для последующего развития медика. К сожалению, я остался плохим химиком. Нельзя было изучать химию, отдавая ей отводимый программой минимум времени. Я посещал все лекции, добросовестно прочитывал несколько раз учебник химии Кольбе, выполнял практические занятия и решал «задачи» у доцента Волконского. Растрачивая мои вечера, я значительную часть их все же посвящал анатомии, а на химию и физику времени вне университета не было.

Самое преподавание химии нельзя было назвать удачным, так как программа химии для медиков была рассчитана на описательный метод, а теоретическая часть — сущность химического мышления, привычки пользоваться законом Авогадро и другими основами — оставалась в тени. Сам преподаватель профессор Сабанеев читал вполне удовлетворительно, живо, с демонстрацией всяких реакций. Он часто вставлял в свою речь слова «тем не менее», однако после 10—15 раза аудитория встречала эту фразу легким смехом, а лектор не знал, чем он вызывает веселье слушателей. Опыты с взрывчатыми веществами, которые показывал лаборант, конечно, совершенно без-

опасные, вызывали у нас тоже веселье, потому что профессор неизменно отходил от своего помощника на приличную дистанцию и командовал им издали с явными признаками тревоги на лице; после взрыва лицо его опять расплывалось в улыбке.

Физика! Вот предмет, который нагонял ужас на медиков. В высшей степени важная наука, основа, можно сказать, всех наук, преподавалась нам плохо, потому что преподаватель был чересчур большой физик — профессор Столетов. На физико-математическом факультете он был, говорят, вполне на месте.

А для нас, медиков, не знавших математики ни на грош, его изложение физики было чересчур математично, сухо, академично. Ни малейшей попытки упростить, популяризировать предмет для малоподготовленных слушателей. Внешность почтенного старца замкнутая, строгая, какая-то сухая, чужая. И ко всему этому прочно установившаяся слава сурового и притом ядовитого экзаменатора. Не только зубрежка, но даже и некоторое понимание физики не помогало, ибо Столетов требовал настоящего понимания предмета — это от медиков, да еще на экзамене, да еще при отсутствии хорошего учебника и при сухом преподавании. Что будет, если толочь воду в ступе? Две дамы идут под зонтиком — одна под красным, другая под зеленым: которая скорее загорит? Вот вам колба и кусок мела, вы будете определять его удельный вес и т. д. Вот вопросы, на которых, как на фугасах, гибли несчастные медики. Я был настолько немощен по физике и настолько деморализован рассказами о «зверствах» Столетова, что хотя и перечитал вдоль и поперек учебник Краевича, но на экзамен пошел с твердым намерением провалиться, с тем, чтобы осенью держать переэкзаменовку (это дозволялось). И вдруг случилось нечто невероятное. Собравшись в аудитории, мы ждали с тоской в душе начала избивения младенцев. Как вдруг по аудитории пронесся с быстротой молнии слух, что Столетов экзаменовать не будет. Что

как, почему, да правда ли, проносится по аудитории. Вчера на совете профессоров Столетов поругался из-за чего-то с ректором и, рассердившись, заявил, что он, мол, в таком случае не желает и будет экзаменовывать медиков приват-доцент Срезневский. А декан тотчас провел через совет постановление: поручить экзамены приват-доценту Срезневскому. «Да ну, не может быть»,— слышалось в аудитории. «Да правда ли?»— спрашивали друг у друга радостно взволнованные студенты. Но вот открывается дверь, и из нее показывается не Столетов, а какой-то профессор в сопровождении незнакомого нам молодого человека с бородкой и по поручению декана объявляет, точно о печальном для нас событии, что вместо проф. Столетова экзамен проведет приват-доцент Срезневский. Кто-то радостно засмеялся, кто-то хлопнул в ладоши, а кто-то попробовал крикнуть «ура», но в общем аудитория сдержалась. Но я далеко не был уверен в достаточности своих знаний и для неизвестного мне Срезневского. Сознаюсь, прибег к военной хитрости, чтобы обеспечить себе победу. Кафедральный стол, на конце которого сидел экзаменатор, был длинный-предлинный. Почему-то Срезневский взял пачку экзаменационных билетов и, как жонглер какой-то, растянул билеты ловким движением, как карты, почти всю длину стола. Несколько человек, и я в том числе, не выдержали искушения. Мы начали толпиться около стола и подсмотрели номера билетов, пользуясь тем, что внимание Срезневского было выключено. Мой билет, который я по счастью заметил, был нетрудный. Я его тотчас освежил по Краевичу. Вот меня вызвали, и я иду вдоль стола, мимоходом беру билет (по счастью, его никто не сдвинул) и рапортую про оптические инструменты, как заправский физик, Срезневский почти не слушал, видно ему некогда, ставит мне четверку. Ура! Я на втором курсе! Дай бог Столетову здоровья за крутой нрав.

Скорее в Симбирск, к любимому отцу, на Волгу, к милым удочкам, ружью и лодкам!

Конец августа. В последний раз искупался в Свяиге, в последний раз проехал под парусом на Волге, последний раз выстрелил в бекаса, в последний раз обнялся с отцом, который долго стоял на пристани и махал платком вслед пароходу, увозившему меня вверх по матушке Волге.

В Нижнем Новгороде пересадка на поезд, и менее чем через сутки я уже рассказываю моей тетушке, сестре моей покойной матери, Н. С. Мартыновой, у которой остановился, про мои летние подвиги. Но негра приниматься и за учебу, в канцелярии университета толпа народу, толчея, легко потеряться. Но дорогие земляки Василий Волков и Василий Глассон, приехавшие вовремя, а не с опозданием, как я, помогают разобраться во всех этих записях на лекциях и на практических занятиях, в поисках учебников, в расписании лекций. Наконец, все сделано, и учебная жизнь входит в свою колею.

Главная масса времени проводится нами в лабораторном корпусе, во дворе университета, где помещаются кафедры физиологии и гистологии. Тот и другой предмет интересны и преподающие их профессора тоже.

Физиология разделена между И. М. Сеченовым и Л. З. Мороховцом. Сеченов! Это имя заманчиво звучало нам еще на первом курсе. Я уже знал, что буду слушателем великого ученого. А кроме того, мне было близко это имя потому, что чуть ли не с детства я слышал о Сеченове как о человеке, близком семье Филатовых, которого знали хорошо и мой отец, и мои родные дяди и который был дружен и в свойстве с теми Филатовыми, что жили в Теплом Стане Симбирской губернии. О личных встречах с И. М. Сеченовым я скажу в другом месте, здесь же упомяну лишь о моих студенческих впечатлениях от знаменитого физиолога.

Я не буду описывать внешность И. М. Сеченова, поскольку она хорошо запечатлена и фотографиями и изумительным портретом работы Крамского, находящимся в Третьяковской галерее. На этом портрете он изображен

еще относительно молодым, я видел его уже в более пожилом возрасте, свыше 70 лет. К основным чертам портрета прибавились морщины, проседь в волосах головы, причесанных с пробором, и в бородке, цвет лица стал желтоватым, но глаза, очень темные, сохранили всю свою живость и выражение внимательности: серьезный, пронизывающий взгляд глубокого ума. Он носил черный сюртук. От его небольшой фигуры и манеры движений и жестов веяло скромностью и достоинством. Никто не пропускал лекций Сеченова. Читал он без ораторских приемов, без нарочитых острот, строго научным языком, видимо, заботясь о соблюдении строжайшей логики изложения — голос звучал несколько старчески, иногда в речи попадались архаические или простецкие выражения. Так, обращаясь к ассистенту, он говорил: «Дайте-ка мне какую-ни на есть пробирку» — и т. д. Лекции Сеченова, строгие, мотивированные, были глубоки и несколько суховаты. Они превышали нередко по содержанию уровень развития студентов второго курса, среди которых, таких мальчишек, как я, было большинство; мы не всегда могли достаточно следить за ходом мысли автора, как то могли делать старшие среди нас, особенно те, кто поступил на медицинский факультет, окончив естественный.

Особенно трудны были мне лично такие отделы, как учение о газообмене, о парциальном движении газов и т. п. Впрочем, здесь и сам Сеченов запутался однажды. Студенты старались внимательно следить за выкладками, которые сам Сеченов делал на доске. Казалось, что все идет правильно. Но вдруг лектор остановился, подумал и сказал: «А я ведь тут все напутал».

Стер написанное и начал расчет сызнова. Простота тона, которым Сеченов сказал о своей ошибке (которую слушатели и не заметили), придавала эпизоду трогательный характер. Я не могу сейчас наверное сказать, был ли я сам свидетелем этого случая или он был мне «по-свежему» рассказан кем-либо из товарищей, но он остался у меня в

памяти как поучительный пример возможности ошибки даже у великого человека — и если случилось самому попасть впросак в ходе моего научно-клинического мышления, я подбадривал себя воспоминанием о том, как запутался дорогой Иван Михайлович Сеченов.

Ассистентами Ивана Михайловича в то время были Шатерников и, насколько помнится, Самойлов, оба ставшие крупными физиологами.

Я подошел в моих воспоминаниях о периоде моей учебы к самому главному для меня лично пункту их — офтальмологии.

Сама судьба как бы указала мне путь в эту специальность. Мой отец был окулистом очень хорошей марки. Он занимался глазными болезнями еще будучи земским врачом у себя в Михайловке и продолжал эту специальность и в симбирской больнице. Еще будучи студентом 3-го курса, я уже кое-что знал по этой отрасли медицины и даже сделал с отцом вместе операцию катаракты. Проф. Крюков был другом моего отца и моего дяди Нила Федоровича. И, переходя на четвертый курс, я сразу почувствовал себя в глазной клинике как в своей тарелке. Я сразу почувствовал симпатию и к директору клиники проф. Андриану Александровичу Крюкову и еще более к приват-доценту Сергею Селивановичу Головину. На четвертом курсе проф. Крюков читал систематический курс глазных болезней вечером по субботам. Он вел курс придерживаясь своего учебника, и не требовал, чтобы мы посещали его лекции. Но я ходил аккуратно, потому что все же на лекции бывали и демонстрации опытов. Я с удовольствием слушал спокойную речь Крюкова; его несколько полное лицо с выпуклыми голубыми глазами доброе-предоброе, с мягкой улыбкой, привлекало к нему симпатии не только мои (мне он казался немножко уж своим, близким), но и тех немногих товарищей, которые сидели в аудитории.

Если к Крюкову я чувствовал симпатию, то в Голови

на я был влюблен. Уже с первых же встреч с ним на его практическом курсе офтальмологии я почувствовал большую силу его ума, его педагогический талант, его обаятельность. Внешность его была необычайная. Он был невысокого роста, слегка сутулый. Его большая, но красиво построенная голова была совершенно лысая; лоб и нос были изящной формы, лицо прекрасного цвета, темно-рыжая бородка и усы; складки у углов рта и между бровями придавали лицу сильно волевое выражение...

Совсем иного типа, чем И. М. Сеченов, был профессор Лев Захарович Мороховец, читавший нам весь курс физиологии.

Крупный, круглоголовый, с густыми седыми волосами, стриженными бобриком, слегка курносый, с веселой, никогда не сходившей с его круглого лица улыбкой, Лев Захарович был воплощенный сангвиник-пикник. Это был очаровательный человек, который и по натуре был веселым, но еще и старался культивировать юмористику на лекциях, на экзаменах и в отношениях со студентами. Ученый он был хороший, работы его были вполне строги по методике, но, конечно, по глубине идей не могли равняться с работами Сеченова, к которому он относился с глубочайшим уважением. Для Мороховца наука была не величественным храмом с высокими куполами, не жертвенником с таинственным полумраком; она была для него скорее зеленой лужайкой, на которой можно было пробежать взапуски или сыграть в лапту, не заботясь о создании вечных ценностей. Его лекции были для нас вполне доходчивы. Он уснащал свое изложение шутками и прибаутками: говоря о слюне, он резюмировал ее роль в пищеварении выражением: «Сухая ложка рот дерет», при изложении значения ферментов желудочного сока он изображал их в лицах и т. п. Экзаменуясь у Мороховца, надо было обладать особым искусством, чтобы провалиться. Если студент на вопрос о реакции крови бойко отвечал, что она кислая, то Мороховец выражал явный восторг

этому дикому ответу и восклицал: «Прекрасно, прекрасно сказано, господин студент! Когда я был студентом, то я тоже так именно отвечал на экзамене. Как же мне приятно видеть в вас единомышленника в прошлом; теперь, правда, я думаю иначе, но, может быть, и вы уже переменили мнение? Да. Итак, итак, реакция крови ще? ще? Щелочная, говорите вы? Прекрасно, вот мы уже опять с вами единомышленники, господин студент! Прекрасно!» И в этом духе весь экзамен.

Не принижал ли Мороховец преподавание? Нет, он не переступал меры оживления его.

Профессор И. Ф. Огнев, ученик знаменитого Бабухина, был по тогдашним временам первоклассным гистологом.

По внешности он производил впечатление человека строгого, сухого, со сдержанными манерами; характерными особенностями его внешности являлась его лысина, шедшая от лба до затылка и окаймленная довольно густыми волосами, и его ироническая улыбочка, которая сопровождала его речь. Он читал вполне удовлетворительно и с демонстрациями рисунков и очень хорошо поставил практические занятия, на которых студенты учились окрашивать препараты и довольно успешно изучал последние.

Органическую химию преподавал профессор Булыгинский. Аудитория для этого предмета помещалась в главном здании университета; это была низкая длинная комната с покатым полом, заставленная длинными черными партами; в конце ее был расположен длинный лабораторный стол, за которым восседал лектор. От аудитории и от профессора Булыгинского, грузного мужчины с трясущейся головой, читавшего монотонно, веяло какой-то средневековой мрачностью. Самый предмет — сложный, с бесконечным количеством формул — трудно было усваивать на лекциях. Но, по счастью, имелся в студенческом обиходе учебник органической химии, анонимный, хотя и всем было известно, что автором его является Булыгинский.

учебник был хорош тем, что составлял точную копию лекций Булыгинского и для сдачи экзаменов был вполне достаточен.

Физиологическая химия была в надежных руках молодого доцента Гулевича, впоследствии крупного ученого. Помню, как однажды, стараясь как можно скорее закончить анализ, я небрежно скомкал фильтровальную бумагу и сунул ее в воронку. Подошел Гулевич, взглянул на мои действия и спросил: «И это, по вашему мнению, складчатый фильтр? Хороша техника». Он прошел мимо меня, не удостоив дальнейшего разговора; в свою фразу он вложил столько иронии, что я запомнил этот эпизод на всю жизнь. Когда через семь лет мне пришлось держать докторантские экзамены, я шел к Гулевичу с недоброжелательством, мои ответы он признал отличными, увлекся беседой со мной и обворожил меня своим вежливым обращением.

Формация и фармакогнозия были скучнейшими для меня предметами, и ходил я на них, как другие студенты, редко, чтобы только не пустовала аудитория. Оба эти предмета читал профессор Тихомирсов — приземистый, толстый, обрюзгший господин. Он носил наименование «чемодана». Рассказывал он про свои лекарственные травы и приготовление лекарств неплохо, и аптекарские курсы его очень уважали, но нам, студентам, было скучно. У него было два брата-профессора: один — известный анатом в Киеве, другой — крупный зоолог, впоследствии ректор Московского университета. Экзаменовались у него без провалов, предварительно научившись у его служителей за некую мзду правильно называть баночки с лекарственными материалами.

Начиная с третьего курса преподавание меняло свою базу. Мы покидали здания университета на Моховой, этот муравейник, в котором кишели студенты разных факультетов, где диапазон учебы и преподавания был широк — от анатомии до высшей математики. С третьего курса препода-

давание медицины происходило почти всецело на Девичьем поле, где были вспомогательные учреждения трех последних курсов факультета. Создание медицинского городка на обширной территории Девичьего поля — это целая эпоха в истории Московского медицинского факультета, да, пожалуй, и всей отечественной медицины. Из воспоминаний моих предшественников ясно, какие громадные преимущества получило преподавание медицины с переносом его старых клиник на Рождественке и из других больничных учреждений, разбросанных по городу, в великолепные здания новых клиник и лабораторий; к моему времени в эти храмы были перенесены почти все дисциплины. На старых базах оставались параллельные и приват-доцентские курсы. Строительство клиник и лабораторных учреждений продолжалось и в дальнейшем. Основа клинического городка была положена отпуском средств правительством. Но затем в Москве среди богатых граждан, преимущественно купечества, создалось полезнейшее течение — жертвовать большие суммы на постройку клиник и лабораторий, обычно такими жертвователями являлись пациенты, вылеченные тем или иным из наших московских светил медицины. Так, для педиатрии выстроена была больница Хлудовой, ушная клиника создана на средства Базановой, акушерская клиника — на пожертвования Пасхаловой и т. д. В центре клинического городка, около здания факультетских терапевтической и хирургической клиник, стоит памятник В. И. Пирогову. С отрадой мог бы взглянуть гениальный учитель на расцвет родной медицины в одном из очагов ее — на Девичьем поле. Я застал этот расцвет в полном ходу.

Дальнейшее изложение моего медицинского образования я буду вести не по курсам, а по предметам, что представляет некоторые выгоды в смысле обзора дисциплин.

Я остановлюсь сперва на лабораторно-экспериментальных дисциплинах, а затем займусь чисто клиническими предметами.

Если на первых двух курсах осью медицинского преподавания являлись анатомия и физиология, то на третьем курсе ею являлись общая патология и патологическая анатомия.

Общая патология — предмет, который и доселе существует самостоятельно не во всех заграничных университетах. То, о чем он трактует, слито с преподаванием патологической анатомии. Конечно, выделение его в особую дисциплину под именем общей патологии или патологической физиологии совершенно правильно. В этом предмете излагаются общие законы, по которым протекают процессы болезни и выздоровления, этиология и патогенез болезней, изложение это пропитано, конечно, экспериментом и патологической анатомией.

Поэтому я и начну мои воспоминания с этого предмета.

Преподавание вел Александр Богданович Фохт — профессор. Он был очень красноречив — это его главная характеристика. Когда на кафедре появилась его высокая стройная фигура с энергичным красивым лицом, украшенным седоватой бородкой и густой гривой с проседью волос (которые он, впрочем, любил покрывать шапочкой, в виде монашеской камилавки), то аудитория сосредоточивала свое внимание. Сосредоточивать надо было потому, что речь была чересчур «литературная». Излагая споры ученых по теории того или иного процесса, Фохт делал это очень изящно, с жестами и модуляциями голоса; если в этой части лекции излишняя водянистость изложения хотя и мешала ухватить суть дела, но была умеренна, ибо оживляла лекцию, то при описании фактов и экспериментов она была во вред. Студенты иногда любили шаржировать Фохта, утверждая, что он для гладкости речи и возвышенного стиля ее не называет даже стакан своим именем, а говорит примерно так: «Возьмем вот этот прозрачный сосуд, именуемый в просторечии стаканом; как вы видите, в нем имеется прозрачная жид-

кость, которую я только что налил в него из крана; это обыкновенная водопроводная вода» — и т. д.

Какая разница с лаконичностью Сеченова! Но, в общем, А. Б. Фохта надо признавать фигурой, которая имела для нас большое положительное значение: так умело он излагал предмет; правда, это изложение было лишь оркестровкой небольшого учебника общей патологии, им изданного. Научного устремления в лабораторию у студентов Фохт почти не вызывал. Окружен он был несколькими сотрудниками — Тальянцевым, Дурдуфи и Линдеманом. Этот последний в конце года читал одну-две превосходные повторительные лекции к курсу; он выработался впоследствии в профессора и ученого с именем. Фохт был и врачом-педиатром. Клиники он никакой не вел, имел значительную практику — часто можно было видеть коляску, везомую парой лошадей, в которой высилась фигура Фохта.

О достоинствах Фохта, как педиатра, мой дядюшка Н. Ф. Филатов отзывался довольно сдержанно. Патологическая анатомия, огромной важности предмет, преподавалась и на третьем, и на пятом курсах. Представлена она была проф. И. Ф. Клейном и проф. Никифоровым.

И. Ф. Клейн был видным членом медицинского факультета, он имел солидную научную репутацию; о нем Н. Ф. Филатов отзывался как о знатоке своего патолого-анатомического дела. Студенты получали от него много. Проф. Клейн был деканом факультета. Для этой позиции он был весьма подходящим человеком. Будучи весьма аккуратным и пунктуальным, а главное, умным человеком с огромным чувством долга, Клейн держал дела огромного числа студентов и преподавателей в образцовом порядке, а кроме сего, он был весьма искусен и тактичен в ведении факультетских заседаний и вообще факультетских дел. Среди многочисленной профессуры существовали различные течения, группировки и прямые ссоры. Так, партия Захарина и партия Остроумова и группы других

корифеев нередко относились друг к другу довольно напряженно, иной раз до так называемых столкновений. И. Ф. Клейн необычайно умно, твердо и тактично умел находить дельные выходы из создавшегося положения. Он пользовался всеобщим уважением профессуры и студенчества. На вид он был несколько суховатый в своем форменном вицмундире; с выдающимися, как у рака, глазами за толстыми очками (он был сильно близорук), он был формалистом, но до известного предела, а по сути добрый человек. Он был всегда академически эффектен в качестве председателя на защитах докторских диссертаций, заседания проводил в строгом тоне.

Читая резолюции факультета о происхождении искомого звания диссертанту, И. Ф. как-то особенно выразительно произносил заключительные слова: «Факультет постановил присудить вам степень доктора медицины, если вы согласитесь подписать факультетскую клятву».

Проф. М. Н. Никифоров, высокий, грузный мужчина лет 45, с круглой головой, несколько маловатой сравнительно с ростом, был тоже крупным патолого-анатомом и патогистологом. Читал он превосходно по содержанию, монотонно по форме. Слушать его было несколько утомительно, но очень поучительно, тем более, что демонстративная часть лекций и практические упражнения были поставлены и на 3, и на 5-ых курсах безупречно.

Проф. Никифоров был настоящий ученый. Он был знатоком техники, и всем известна его книга «Микроскопическая техника», переиздаваемая и доселе, а также его двухтомная книга «Патологическая анатомия».

Фармакология читалась нам проф. Богословским. Предмет этот не привлекал моего внимания (как, по-видимому и всего курса) по двум главным причинам. Во-первых, фармакология имела тенденцию стать какой-то специальностью, обособленной от клиники, и приблизиться к физиологии. Эта тенденция, как мне кажется, в последующие десятилетия еще более усилилась. И фармакологи уже и

в наши времена больше интересовались законами воздействия лекарственных веществ на кроликов, чем влиянием их на больного. Уже это одно расхолаживало наше рвение к изучению этой науки. А кроме того, сам преподаватель был скучный. Впоследствии кафедра фармакологии несколько улучшила свою работу под руководством его ученика Червинского.

Бактериология слушалась нами у Войтова и Габричевского. Войтов читал свой предмет необычайно искусно и живо, вставляя в лекцию всякие занятые истории и остроты. Деятельным помощником у него был В. В. Воронин, ставший впоследствии замечательным общепатологом-энциклопедистом. Воронин, как мне пришлось слышать от него впоследствии, очень высоко ставил знания Войтова, так же и Габричевский был первоклассной величиной в области бактериологии и один из первых ввел вместе с проф. Н. Ф. Филатовым антидифтерийную сыворотку Бер-Ру в практику.

Историю и энциклопедию медицины — предметы, которые могли бы иметь большое значение для нашего развития, — читал без всякого интереса для нас проф. Белин.

Судебная литература читалась проф. Нейдингом достаточно научно, но посещалась нами слабо.

Одним из украшений медицинского факультета считался в мое время профессор гигиены Федор Федорович Эрисман. Он был выходец из Швейцарии и отдал многие годы работе в России. Это был высокий человек с красивой русой большой бородой и открытым лицом. Он был превосходный знаток своего дела, в которое вносил и свое, новое. Читал он хорошо и доступно нашему пониманию. Он славился так же как общественный деятель либерального направления. Из клинических дисциплин главным являлись внутренние болезни и хирургия. Изучение внутренних болезней и начиналось с пропедевтической клиники, которую вел проф. М. П. Черинов.

Маститый, но молодцевато державшийся высокий ста-

рик с большой седой бородой поставил свою кафедру очень хорошо. Он излагал нам методы исследования больного и разбирал пациентов перед аудиторией очень солидно, но иногда у него выходили смешные ляпсусы. «Итак,— говорил, например, он,— правое легкое имеет три доли, а левое легкое две доли и наоборот». Зачем понадобилось это «наоборот» — было непонятно, но оно вызывало смех. Или: «Давали больному фенацетин — не помогло, давали ему аспирин — не помогло. Что делать, как тут быть?» — говорил Черинов, качая головой налево и направо и вопросительно глядя на аудиторию; пауза, аудитория нерешительно молчит. «Продолжать фенацетин», — разрешил неожиданно Черинов к общему веселью аудитории, которого он, видимо, не ожидал. Черинов, имевший большую частную практику, был состоятельным человеком и был женат на известной оперной певице Ва-Занд.

Ближайшими помощниками Черинова были доценты А. И. Щербаков и А. И. Предтеченский. Они выступали иногда в аудитории вместо Черинова. Они превосходно вели практические занятия (по физическим методам исследования и по анализу). Оба они сделались впоследствии крупными учеными-профессорами. С А. И. Щербаковым мне пришлось лет через четырнадцать встретиться в Одессе, где он занял кафедру госпитальной клиники и был позже попечителем учебного округа.

Пропедевтическая клиника, введившая нас в изучение внутренних болезней, оставила по себе отличное воспоминание.

Курс частной патологии и терапии представлял для студентов значительный интерес. Он не был связан с клиникой и состоял в изложении описания болезней, сопровождавшимся иногда и демонстрацией больных на лекции. Читали этот курс три профессора — Шервинский, Митропольский и Ельчинский. Мы записывались на того или иного из них, но посещали и других, в зависимости от темы лекции.

Проф. Митропольский был склонен к философскому изложению и дал в своей клинике попытку новой классификации болезней. Насколько знаю, она не нашла большого применения, но студенты, падкие на всякие спорные вопросы, интересовались ею.

Проф. Шервинский производил более живое впечатление, чем его коллеги. Проф. Шервинский приобрел впоследствии большую славу клинициста главным образом как исследователь и практик в области эндокринологии; при мне она еще едва начиналась. Он достиг весьма преклонного возраста (чуть ли не 90 лет), не теряя до конца своей жизни (он умер в 1941 году) работоспособности.

На четвертом курсе мы слушали факультетскую терапевтическую клинику у знаменитого профессора Антона Григорьевича Захарьина. Имя этого крупнейшего человека гремело в свое время не только в Москве, но и по всей России. Мечтой каждого тяжелого больного было попасть в Москву к Захарьину, мечтой огромного количества врачей было послушать Захарьина или поработать у него в клинике. Захарьин создал огромную Московскую школу врачей, как Боткин в Петербурге.

Бесконечно количество рассказов о Захарьине, о его чудачествах, о его выходках, разнообразны оценки его личности и его деятельности. Его возносили на недостижимую высоту как клинициста и его старались забросать грязью как человека. Многие в отзывах о нем противоречиво. Захарьин был очень крупный клиницист и очень сильная личность.

В то время, когда молодой Захарьин вернулся из своей заграничной командировки в Москву, среди врачей не было таких корифеев внутренней медицины, как Мудров и Иноземцев. Общий уровень медицинской мысли был невысок, невысок был и специальный уровень врачебного сословия.

Захарьин внес в московскую медицину свежую струю, и притом не заграничную, а свою, оригинальную. Он дал

новые и необычайно тонкие клинические методы изучения больного с учетом той среды, в которой больной живет и работает. Он ввел в клинику великое искусство расспроса больного о его настоящем и прошлом. Как никто до него, он умел индивидуализировать режим и лечение больного, он бесподобно умел пользоваться клиническими факторами, минеральными водами. Количество печатных произведений, в котором Захарьин отражал в превосходной форме свои взгляды, невелико. Но школа его возрастала и ширилась благодаря лекциям и консилиумам. Кроме ближайших его учеников, являвшихся его ассистентами (Черинов, Голубов, Попов, Остроумов, сделавшийся потом его соперником, и др.), захарьинским взглядам следовали и врачи других специальностей; в мое время захарьинцами являлись на медицинском факультете такие крупные клиницисты, как Нил Филатов, Снегирев, Кожевников, психиатр Корсаков, Пospelов, Дьяков и другие. От непосредственных учеников Захарьина его взгляды переходили из поколения в поколение. И многие из теперешних врачей пользуются ими, нередко не сознавая этого, и даже на заданный им вопрос: «Кто был Захарьин?» — они отвечают: «Не знаю».

Захарьин совершил еще одно крупное дело — он поднял значение врача в глазах тогдашнего общества. Методы, которыми он пользовался для этого, были двоякого рода. С одной стороны, и он сам и его настоящие последователи приобрели уважение своим внимательным изучением пациентов и искусством лечения, с другой стороны, тех людей, которые по своему умственному и моральному уровню позволяли себе третировать врача унизительно, Захарьин приучал смотреть на врача с почтением, прибегая то к ударам по карману, назначая свои высокие гонорары, то прибегая к резкостям. Надо заметить, что и то и другое Захарьин делал в состоятельных слоях общества, особенно среди ожиревшего московского купечества или привилегированного общества. Перед теми

и другими он поддерживал свое достоинство без всякого страха. Рассказывают, что, когда он был у постели царя Александра III, он не постеснялся сказать наследнику, чтобы он перестал трясти ногой, так как это мешает ему сосредоточиться. А царю Александру, который, будучи больным почками, вздумал продолжать выпивку, что было запрещено, Захарьин заявил, что не станет его лечить. Многие капризы и выходки Захарьина имели основанием то обстоятельство, что он страдал ишиасом, что и расшатывало его нервную систему.

Значение Захарьина для развития медицины в России я постепенно понял лишь впоследствии, будучи врачом.

Другим крупным представителем терапии являлся на медицинском факультете проф. А. А. Остроумов.

Если Захарьина я застал уже в период угасания его звезды, то Остроумов был в апогее своей славы.

Остроумов казался могучим по своей внешности. Высокий, широкоплечий, широкоскулый, с окладистой светлошатовеной бородой, с басистым голосом и несколько грубоватым выговором, Остроумов был человеком, про которого Гоголь мог бы сказать: «Не ладно скроен, да крепко шит». Был он силен и умом, который проявлялся в нем и в его медицинско-философических взглядах, и в беседе с больным, и в печатных произведениях, и на лекциях.

Лекции он читал громким голосом, отчетливо, без подыскивания слов или выражений. Речь его была убедительна, чувствовалось, что она рождается от полноты уверенности оратора в том, что он произносит. В лекцию Остроумов не прочь был вставлять каламбуры, порой несколько грубоватые. Эти семинарские штуки были, впрочем, не нарочито задуманными, а рождались так, попутно, от игривости характера. Суть же лекции была всегда умна, научна, глубока. Остроумов был учеником Захарьина. Он рассорился с ним навсегда. Основа захарьинской школы сохранилась в нем, но только он ввел в медицину

и многое свое, оригинальное, и методика исследования была углублена лабораторными приемами, и многое внесено в теорию происхождения болезней. Он сближал медицину с биологией и углублялся в вопросы наследственности и конституции больного. Трудно сказать, кто внес больше в медицинское мышление — Захарьин или Остроумов. В первом было больше просвещенного эмпиризма, во втором чувствовалось искание законов медицины. Но оба они составляли славу Московской терапевтической школы и дополняли друг друга. Клиника Остроумова была поставлена образцово. Среди ближайших учеников Остроумова я упомяну Лангового, Ансерова, Готье, Бурмина, ставших профессорами; милейший и симпатичнейший Д. А. Бурмин возглавляет ныне (в 1943 г.) клинику своего учителя, который умер в сравнительно молодом возрасте; упомяну и про известного деятеля доктора Шингорева, записавшего лекции Остроумова, которые вышли из печати еще при жизни последнего.

Не менее чем Московская терапевтическая школа славилась Московская хирургическая школа. По числу хирургов она была довольно многолюдна; хирурги московских клиник имели, конечно, каждый свои особенности, но основа у них была общая, зиждилась на заветах Пирогова, этого великого русского мастера хирургии, на завоеваниях асептики, которая в то время являлась таким благодетельным условием для развития операций.

Характеристику хирургии медицинского факультета надо начинать не с клиник, а с подготовительных дисциплин — топографической анатомии и оперативной хирургии, значение коих для клинической хирургии было показано Пироговым. Топографическая анатомия и оперативная хирургия преподавались проф. Петром Ивановичем Дьяконовым. Какая это была крупная и многогранная личность! Он начал свою карьеру в качестве земского врача и много работал не только в хирургии, но и по глазным болезням. Даже диссертацию свою на степень доктора медици-

ны он защитил по офтальмологическому вопросу, а именно темой его диссертации была слепота в России. Она представляла из себя великолепное научное исследование по преимуществу статистического характера.

Свою кафедру Дьяконов поставил превосходно, опираясь на таких чудесных помощников, как прозекторы Лысенков, Рейн, Напалков. Лекции Дьяконова были безукоризненны по ясности, демонстративности. Трупов для практических упражнений было достаточно, и мы охотно проводили время в Институте топографической анатомии и оперативной хирургии. Прозекторы охотно занимались с нами.

По топографической анатомии и оперативной хирургии было вдобавок два превосходных учебника проф. А. А. Боброва, старых, ясных и снабженных хорошими рисунками.

Всякий, кто хотел, мог изучать эти предметы отлично, у Дьяконова же проходил курс повязок, вывихов и переломов, тоже поставленный отлично. Подготовительным предметом для клинической хирургии являлась хирургическая патология.

Этот предмет представлял из себя приложение значительной части общей патологии к хирургии. Он представлял для меня интерес и по своей сути и по преподаванию. Профессор Федор Иванович Синицын представлял из себя на фоне той новой школы медицины, которая развивалась бурно, питаемая завоеваниями бактериологии и общей патологии и патологической анатомии, некоторый архаизм. Он не легко принял новые течения медицины пастеровского и листеревского периодов. Рассказывают, что он в свое время не очень-то верил в необходимость оперировать асептично и будто бы говорил перед операцией, обращаясь к санитарке!: «А ну-ка, Степанида, возьми полотенце, повыгоняй из операционной этих самых козявок, бактерий этих!» Но надо отдать честь старику, что он вскоре пошел нога в ногу с новой медициной. Но старую

медицину времени Пирогова он уважал и любил за многое, что в ней было ценного и что так легко забывали новые поколения. Он сохранил что-то от прежних времен во всем своем облике, в манере говорить, в выражениях, звучавших несколько архаически, но так выразительно. Лекция его доставляла большое удовольствие, особенно когда разбирал на них больных; он читал и урологию. Разбор больных по этой специальности не только был поучителен по тонкости анализа симптомов болезни, но и заставлял аудиторию держаться, как говорят, за животики от смеха. Синицин с невозмутимым видом вкладывал в беседу с пациентом, выявляя бытовые моменты его заболевания, огромный юмор.

Передача здесь этих анекдотических бесед по поводу болезней, имеющих специальный характер, неудобна, к сожалению.

Читал он и в новой екатерининской больнице. На пасху Федор Иванович после обедни шел из больничной церкви в вицмундире по палатам; его маленькая фигурка была полна торжественности и достоинства, его румяное лицо с седой бородкой и большими серыми глазами, с пронизательным и умным взглядом выражало благоволение. За ним несли поднос с крашеными яйцами, и он клал их по паре, произнося пасхальное приветствие, на прикроватные столики своих удалых уретристов, которых он недавно обличал на лекциях.

Клиническая хирургия начиналась на 4-м курсе у проф. Боброва.

Клиника его, как и все новые клиники на Девичьем поле, являла собою образцовое учреждение. Пребывание в чистой белой аудитории с ярусами, с которых так удобно было смотреть на оперирующего посредине её профессора, доставляло не только умственное, но и эстетическое наслаждение. Художественному впечатлению способствовало и то, что Бобров умел придать своей лекции красоту. Сам он производил впечатление своей внешностью. Бобров был

брюнет или, может быть, сильный шатен с темными глазами и густой, подстриженной бородой; черты лица его были обозначены с достаточной, но не излишней резкостью, при улыбке зубы его сверкали белизной. Когда он в белом халате и белой шапочке делал изящные жесты своими тонкими, но мускулистыми руками, голыми до локтей, вел беседу, то очень напоминал мне какого-то ратора в Афинском ареопаге. Оператор он был превосходный и пользовался вполне заслуженной славой и в Москве, и в Крыму, где он ведал летом санаторием.

Он представлял из себя типичный образец хирурга, впитавшего в себя все лучшие принципы хирурга того времени и широко образованного. Но и у такого хирурга могут быть неприятные приключения. Однажды он рассказывал, как надо соблюдать осторожность, чтобы не перерезать нервы во время операции на локтевом суставе. Он рассказал нам топографическую анатомию этой области и расположение нерва. Он уверенно повел операцию; вдруг в группе врачей, помогавших Боброву, произошло замешательство и прозвучала отчетливая фраза Боброва: «Той осторожности, которой я вас только что учил, у меня не оказалось. Я не сумел заметить локтевого нерва в окружающей жировой клетчатке и перерезал его. Приступим к его сшиванию».

Госпитальная клиника была в ведении профессора Льва Львовича Левшина. Этот почтенного возраста человек не мог равняться с Бобровым ни внешностью, ни своим искусством хирурга. У Левшина была огромная борода, которую он завешивал, как и полагается при операции, марлевой салфеткой. Борода была замечательна тем, что в понедельник она была черная-пречерная, в среду начинала становиться фиолетовой, а к субботе становилась зеленоватой, как у лешего. Мы недоумевали, неужели он не мог найти хорошего парикмахера. Левшин был ниже Боброва, но это не значит, что был плохой хирург. Лекции его вполне содержательны, и эрудиция у

него была широкая. В случаях полосных операций у женщин Левшин охотно приглашал на консилиум знаменитого Снегирева. Однажды Левшин со Снегиревым оперировали больную. Из анализа было известно, что когда-то Захарьин поставил ей диагноз туберкулеза одного из поясничных позвонков. Операторы не нашли того новообразования, которого искали, но усмотрели рубцевые изменения позвонка. Снегирев, благоговевший перед Захарьиным как своим учителем, воскликнул: «Смотри, трижды Лев и трижды свинья, как ставил диагнозы Григорий Антоныч, это, брат, не то, что мы с тобой!»

Левшина сменил на кафедре Госпитальной хирургической клиники П. И. Дьяконов. Мне пришлось познакомиться с его деятельностью уже после окончания медицинского факультета. Хирург он был исключительный по технике, по эрудиции, по искусству изложения и по необычайному научно-исследовательскому полету мысли. Он создал огромную школу хирургов, он редактировал журнал «Хирургия», он написал много научных трудов. Он производил неотразимое впечатление и своей внешностью: могучая фигура, типично русское бородатое лицо с необычайно энергичным, умным выражением.

По своей кипучей натуре он склонен был иногда к увлечениям новыми идеями. Так, одно время он проникся мыслью, что не следует после операции останавливать кровотечение слишком тщательно, дабы улучшить условия заживления; эта идея привела к нежелательным результатам; в увлечении асептикой он одно время завел у себя в клинике мытьё рук только мылом и водой из крана; такое упрощение асептики также пришлось отменить. Но эти штрихи не могут умалить всего величия облика П. И. Дьяконова.

Я только что дал наброски наших главарей хирургии медицинского факультета. Но надо вспомнить и целый ряд других хирургов, которые составляли Московскую школу в виде профессоров, читавших параллельные кур-

сы, в виде приват-доцентов, ассистентов и ординаторов. С некоторыми мне приходилось иметь дело лично, о других я знал по характеристикам студентов и врачей.

В новой екатерининской больнице вели параллельные клиники старый профессор Новацкий и проф. К. Ф. Клейн, брат нашего декана. Иные студенты слушали их: новоекатерининская больница, довольно старомодная, была небогата углами, зато богата пирогами, т. е. материалом. И те несколько студентов, которые учились у только что упомянутых профессоров, получали иной раз больше знаний, чем та масса, которая находилась на Девичьем поле.

В какой-то больнице читал проф. Кузьмин, приобретший печальную славу содержателя ссудной кассы в Казани, которую он вынужден был покинуть. В мое студенческое время прокладывали путь своей будущей карьере приват-доцент Спижарный, Алексинский, Лысенков, Мартынов, ортопед Гатман, хирурги Напалков и Федоров. В период моего студенчества и те несколько последующих лет, что я жил в Москве по окончании курса, Москва, можно сказать, была насыщена замечательными хирургами и вне пределов факультета (Краснобаев, Чупров, Постников).

От чистой хирургии перехожу к смежным с нею специальностям.

Профессор Макеев был в свое время хорошим знатоком акушерского искусства, но в эпоху моей учебы он был в очень преклонном возрасте. Небольшого роста старичок производил несколько комическое впечатление своей манерой прерывать свою речь какими-то параксизмами глухо звучащего хохота на букву «о»: хо-хо-хо; врывался он неожиданно, немотивированно в его фразу; комическое впечатление усиливалось жестами его рук, он размахивал ими и так складывал пальцы рук, что казалось, будто он лезет в утробу женскую, но лекции он читал не без интереса для нас; его можно слушать не без удовольствия,

как какой-нибудь романс в исполнении старого певца. Клиника держалась не на нем, а на его ассистенте доценте Побединском Николае Ивановиче. Это был свежий, современный, передовой клиницист, акушер и преподаватель. Мне пришлось однажды видеть его в сложном положении. Ночью экстренно ему пришлось делать операцию внематочной беременности. Он выполнял её безупречно.

Когда рана была уже зашита и приступили уже к бинтованию, неожиданно ассистент, на обязанности которого лежит счет салфеток, которые применялись при операции, заявил, что одной салфетки не хватает: значит одна салфетка оставлена в полости живота! Побединский приказал ассистенту пересчитать салфетки еще раз. Растрепанный, взволнованный, ассистент опять начал копаться в куче кровавых салфеток и опять объявил: «Одной салфетки не хватает». Положение становилось пренеприятным: надо расшивать рану и лезть в живот, чтобы вытащить салфетку. Заставили искать салфетку другого ассистента: опять нет салфетки. Побединский взял уже пинцет и ножницы, чтобы снимать швы, но вдруг с решительным видом твердо сказал: «Я абсолютно уверен, что салфетки в животе не оставил»—и приказал накладывать повязку. Он сам начал считать салфетки, разворачивая каждую из них, и, наконец, вздох облегчения вырвался у всех: оказалось, что две салфетки крепко слиплись между собою всей своей площадью.

Акушерство приходилось изучать как предмет важный, но я делал это без интереса, по обязанности.

Гораздо больше интереса я находил в соседней клинике женских болезней у знаменитого профессора Снегирева. И самый предмет с его разнообразной патологией был занятен для меня, но главным аттракционом был профессор, лекции которого были бесподобны. Снегирев был замечательным оператором и автором великолепной книги «Маточное кровотечение» и ряда научных работ. Снегирев имел изысканную внешность. Он склонен был к вакхическим

радостям, но на деле его это не отражалось. В селе Алексине он имел созданную на его средства больницу с превосходной операционной и там производил операции местному женскому населению. По своим клиническим концепциям Снегирев принадлежал к школе Захарьина. Вокруг него группировалось много учеников. Снегирев пользовался в Москве и далеко за пределами её огромной популярностью как искуснейший оператор. Слава его как диагноста побудила короля болгарского пригласить его для выяснения состояния его жены Драги, у которой заграничные врачи находили какие-то отклонения в течении её беременности.

Снегирев, к своему удивлению и к огорчению короля, установил у королевы наличие так называемой ложной беременности.

Крупное место среди предметов медицинского факультета занимали детские болезни. И самый предмет педиатрии имеет огромное значение, вдобавок преподавателем его являлся всемирно известный профессор Нил Федорович Филатов, брат моего отца.

Нил Федорович Филатов, бывший в свои молодые годы ассистентом Тольского и усовершенствованный у корифеев педиатрии за границей, совершенно реформировал русскую педиатрию и внес в нее (да и в заграничную педиатрию) много своего оригинального. Он был воспитан на захарьинских методах клинических, но, дополнив и частью изменив их, создал свою филатовскую, школу педиатрии. Он был очень умен и талантлив и привлекал к себе и учеников, и врачей, и студентов, которые относились к его клинике и к нему с величайшим уважением. Аудитория его всегда была полна, и слушали его замечательные лекции, простые, ясные, убедительные, наполненные личным опытом лектора, с напряженным вниманием.

Нил Федорович производил обаятельное впечатление на имевших с ним дело. Внешность его была незаурядна. Он был высок ростом и строен, черты лица его были рез-

ко очерчены, глаза были большие, темно-карие, под густыми черными бровями, густая черная борода окаймляла его лицо с орлиным носом, и густые черные волосы, закинутые назад и мелко курчавые, были подстрижены сзади в кружало, лицо его имело несколько армянский или цыганский вид: быть может, в предках его текла сербская кровь. Несколько суровое выражение лица его смягчалось часто очаровательной улыбкой; когда Нилу Федоровичу приходилось вступать в конфликт с проявлениями чьей-нибудь нечестности или недобросовестности, лицо его становилось грозным, но обычно он был мягок и благожелателен в отношениях своих и с учениками, и со студентами, и детьми, матерям которых, впрочем, приходилось выдерживать основательные выговоры.

Нилу Федоровичу принадлежит много трудов по клинике педиатрии. Прославившими его имя по всему миру являются главным образом следующие: семиотика и диагностика детских болезней, лекции об острых инфекционных болезнях у детей, краткий учебник детских болезней и лекции его, записанные его ассистентами Сперанским, Григорьевым и Васильевым.

Первые три книги выдержали в первые же годы после своего появления несколько изданий и у нас и за границей. Семиотика была переведена на пять языков. Книги Филатова не потеряли своего значения по сие время, а краткий учебник, освежаемый его учеником проф. Г. Н. Сперанским, издается и поныне. Дух Филатова веет над нашей педиатрией, и в его книгах, и в пополнениях педиатров. Проф. Филатов был клиницистом чистой воды: лабораторные исследования и анализы, конечно, входили в программу клиники, но играли второстепенную роль по сравнению с физическими методами исследования и изучением анализа. Славой проф. Филатова как диагноста и терапевта была полна не только Москва, но и вся Россия.

Лекции Нила Федоровича мы слушали в его клинике, расположенной в детской больнице, выстроенной купчихой

Хлудовой вблизи Девичьего поля. А кроме сего, базой нашего обучения были инфекционные детские бараки, помещавшиеся поблизости. Ближайшими помощниками Нила Федоровича в то время были приват-доцент Полиевктов и ассистент Остроградский. В детской клинике имелась и операционная, в которой оперировали детей проф. Дьяконов и Н. К. Лысенков.

Я посвятил моему дяде отдельные, более подробные мемуары и потому здесь ограничиваюсь только краткой его характеристикой.

Проф. Н. С. Корманов вел параллельный курс педиатрии, не представлявший большой ценности и не игравший существенной роли. После преждевременной смерти Филатова (последовавшей в возрасте 56 лет) он занял его кафедру, и она пошла вниз.

Ученики же проф. Филатова продолжали его дело и развили нашу педиатрию до блестящего состояния. На первом месте среди них стоит Г. Н. Сперанский, о котором я буду говорить в свое время.

Нервные болезни нам читал А. Я. Кожевников — человек крупного масштаба.

Среднего роста старец, с несколько взъерошенной бородкой и седой шевелюрой, неправильные черты лица и темные большие глаза под густыми бровями и толстыми золотыми очками, в черном сюртуке. Когда он появился на кафедре, аудитория как бы замирала в ожидании его речи, произносимой чистым, совсем не старческим голосом, речи, которая была вся от начала до конца построена необычайно логично и образно. Особую прелесть лекции составляло умение Кожевникова давать такие модуляции голоса и логические ударения, которые делали содержание лекции понятным до последнего слова. Чувствовался мастер, который говорит свое, а не литературное.

Клиника была поставлена превосходно, и целый ряд ассистентов Кожевникова был один лучше другого. Кожевников был первоклассным клиницистом и у него была

масса оригинальных работ. Школа Кожевникова была очень солидна, из учеников его я могу указать на таких крупных невропатологов, как Даркшевич (в Казани) и В. К. Рот.

Нервные болезни мне были очень по душе. Мне пришлось писать историю болезни с множественными невритами. Я изучил большую под руководством ординатора Верзилова, очень хорошего, а потом прочитал французскую литературу в руководстве Бабинского, которую мне дал мой дядя Нил Федорович. Мне было очень приятно, когда дядя сказал мне, что он встретился с Кожевниковым и тот похвалил ему мою работу.

Неврология высоко стояла в мое время на медицинском факультете. Из представителей этой дисциплины я вспоминаю нескольких.

Много пользы можно было получить от В. К. Рот. Огромный мужчина, рыжий, с удивительно неподвижной физиономией и с медленно двигающейся фигурой, Рот получил очень меткое наименование «каменный гость». Но больных «каменный гость» разбирал очень хорошо и был автором не только огромной книги о мышечной атрофии, но и других оригинальных исследований.

Противоположностью ему являлся длинный, худой, нервный, с тиком шеи и лица приват-доцент Л. С. Минор, сын московского раввина; это был живой и разнообразный преподаватель с большой эрудицией французской школы; он приобрел и большое научное имя.

Высоко стояла и психиатрия, руководимая С. С. Корсаковым. В противоположность своему брату педиатру Н. С. Корсакову, тщедушному и бесталанному, С. С. был могучий мужчина, полный, румяный, с окладистой бородой. Взглянув на него, можно было ожидать, что вот он заговорит громким басом. Но голос у него был нежный, теноровый, а речь его лилась, как и полагается психиатру, плавно, мягко. Известность его как автора работ об алкогольных множественных невритах и связанных с ними

психозах была мировая. Слушал я его с удовольствием, но предмет мало привлекал меня в силу своей замысловатости.

Интересную фигуру представлял из себя ассистент Корсакова доц. В. П. Сербский; полезен был и другой ассистент Рыбаков, который занимался много и гипнозом.

В мое время гипнозом в Москве сильно интересовались и во врачебной среде и в широкой публике. Славилась Ланг, Рик, Токарский и другие.

Кожно-венерические болезни преподавал в своей великолепной новой клинике проф. Поспелов, крупный специалист в этой области. Богатая и материалом и муляжами клиника под руководством профессора давала нам очень много.

Клинику уха, горла и носа, необычайно богато оборудованную, вел С. Ф. Фон-Штейн, чрезвычайно ученый специалист. Оториноларингологии учились также у проф. Степанова и Беляева, тоже великолепных специалистов.

Я подошел в моих воспоминаниях о периоде моей учебы к самому главному для меня лично пункту их — к офтальмологии.

Сама судьба как бы указала мне путь в эту специальность. Мой отец был очень хорошим окулистом. Он занимался глазными болезнями еще будучи земским врачом у себя в Михайловке и продолжал эту специальность и в Симбирской больнице. Ещё будучи студентом 3-го курса, я уже кое-что знал по этой отрасли медицины и даже сделал с отцом вместе операцию катаракты. Проф. Крюков был другом моего отца и моего дяди Нила Федоровича. Переходя на 4-й курс, я сразу почувствовал себя в глазной клинике как в своей тарелке.

Я сразу почувствовал симпатию и к директору клиники проф. Адриану Александровичу Крюкову и еще более к приват-доценту Сергею Селивановичу Головину. На 4-ом курсе проф. Крюков читал систематический курс глазных болезней вечером по субботам. Он вел курс, при-

держиваясь своего учебника, и не требовал, чтобы мы посещали его лекции. Но я ходил аккуратно потому, что все же на лекции бывали и демонстрации опытов. Я с удовольствием слушал спокойную безыскусственную речь Крюкова; его несколько полное лицо, с выпуклыми голубыми глазами, доброе-предоброе, с мягкой улыбкой, привлекало к нему симпатии не только мои (мне он казался немножко уж своим, близким), но и тех немногих товарищей, которые сидели в аудитории.

Если к Крюкову я чувствовал симпатию, то в Головина я был влюблен. Уже с первых встреч с ним на его практическом курсе офтальмологии я почувствовал большую силу его ума, его педагогический талант, его обаятельность. Внешность его была необычайная. Он был невысокого роста, слегка сутулый. Его большая, но красиво построенная голова была совершенно лысая, лоб и нос были изящной формы, лицо прекрасного цвета, в темно-рыжей бородке и усах; складки у углов рта и между бровями придавали лицу сильноволевое выражение, а украшением лица были чудесные серые лучистые глаза, смотрящие на собеседника внимательно, и красивая улыбка.

Уже на студенческих занятиях и на офтальмологии, и на офтальмологической диагностике чувствовалось стремление Головина к систематизированию данных этих отделов офтальмологии. Такой систематичности изложения, какую давал нам Головин, я не встречал, пожалуй, ни у одного из преподавателей медицинского факультета. Методическое использование больного по плану, методические научные исследования при яркой способности к обобщениям и при широкой эрудиции — вот черты, которые характеризовали С. С. Головина уже и в то время. Уже и нам, студентам, было ясно, что истинной душой клиники является Головин.

Третьей фигурой в главной клинике являлся проф. Ф. А. Евецкий, которому А. А. Крюков передал чтение поликлинического курса (на 9 и 10 семестрах); это был

вполне культурный, образованный преподаватель, прекрасно знавший патологическую анатомию глаза. Ассистентами клиники были А. А. Маклаков, А. Г. Люткевич, Радэвицкий и др. Я слушал также и приват-доцента Лаврентьева.

Офтальмология явилась для меня родным уютным домиком среди широкого города многочисленных предметов медицинского факультета. Меня увлекали в ней и изящество органа зрения, и значительность его функций, дающих человеку радость видеть природу, и то, что на этом малом, казалось, органе можно познать все законы физиологии и патологии. Я занимался ею с интересом и, оставляя медицинский факультет врачом, стоял уже солидно на почве этой специальности.

Не могу сказать того же про другие предметы. Я сдавал их на экзаменах хорошо, но качество моих знаний, по существу, было не слишком высоко...

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Эти воспоминания, написанные мною до войны 1941 года, сохранились не полностью, но и до сих пор я вспоминаю часто своих дорогих людей на родине, а также и преподавателей. В годы своей трудовой жизни не раз я вспоминал слова учителей при разрешении трудных вопросов помощи больным. Хочется сказать молодежи нашей: «Цените все, что вы изучите в школе, в высшем учебном заведении, либо на заводе. Эти знания, эти советы опытных людей заставляют познавать многое, что потом тебе пригодится для своей работы, т. е. когда ты можешь помочь либо больному, либо какому-нибудь делу и тем самым ты не только себе принесешь пользу, но и обществу, своей Родине. Я всегда благодарю своих учителей за то, что я стал врачом, гражданином своей страны. Я всю свою жизнь и посвятил борьбе со слепотой, чтобы помочь

больному и вернуть его к труду. Как надо ценить все то хорошее, что получаешь от учителей!»

Вот почему я с теплым чувством вспоминаю моих преподавателей и сожалею, что в свои юные годы я не понимал многое, но рад, что все же я взял от них многое, что позволило потом при желании развить в себе ответственность перед своей работой в помощи больным.

В. В. Скородинская-Филатова

ЖИЗНЬ И РАБОТА АКАДЕМИКА В. П. ФИЛАТОВА

Академик Владимир Петрович Филатов родился в 1875 году в селе Михайловке Саранского уезда Пензенской губернии, ныне Мордовской АССР. Отец его Петр Федорович Филатов по окончании Московского университета приехал в это, по тому времени, глухое место и работал здесь как хирург и окулист. В этой же больнице и родился его сын Владимир Петрович Филатов—крупный ученый-офтальмолог.

Все свое детство Владимир Петрович провел в деревне, о чем с теплым чувством пишет в своих воспоминаниях. В возрасте семи с половиной лет поступает в гимназию города Симбирска, ныне Ульяновска. В то время в этой гимназии учился Владимир Ильич Ленин и его братья. Владимир Петрович Филатов в своих воспоминаниях тепло отзывается о гимназии и ее преподавателях.

По окончании гимназии поступает в Московский университет на медицинский факультет. В своем рассказе об университете с восхищением описывает своих учителей—крупных научных специалистов того времени, таких, как Захарьин, Боткин, Столетов, Кожевников и другие, создавших славу русской науки. В числе этих ученых были и дяди Владимира Петровича—известный своими трудами по педиатрии Нил Федорович Филатов и Дмитрий Петрович Филатов—генетик.

Еще будучи студентом, Владимир Петрович приезжал к отцу и помогал ему в проведении операций и лечении больных. Видя огромное количество слепых, молодой Филатов стал мечтать о том, как помочь таким больным и избавить их от страшного недуга. По окончании университета он поступает работать в глазную больницу, где под руководством специалистов глазных болезней начинает осваивать методы диагностики, лечения и технику операций. В то время Владимира Петровича занимал вопрос о борьбе со слепотой от бельма путем пересадки роговицы, о чем уже имелись сведения, но операция пока еще не давала положительных результатов. В 1903 году Владимир Петрович со своим учителем профессором С. С. Головиным, крупным ученым по офтальмологии, переезжает в Одессу, и здесь при Новороссийском университете они организуют глазную клинику, которая и поныне широко известна и прославлена трудами по борьбе со слепотой. Эта глазная клиника занималась и лечением больных и разработкой лечебных научных вопросов по офтальмологии, здесь проводились на высоком уровне занятия со студентами.

Работая в клинике, Владимир Петрович Филатов под руководством своего учителя профессора С. С. Головина успешно защищает в 1908 году диссертацию на тему «Клеточные яды в офтальмологии», которая и до сих пор представляет интерес в изучении ядовитых веществ, в частности их влияния на организм. В 1911 году после отъезда профессора Головина Владимира Петровича Филатова утверждают профессором кафедры глазных болезней и заведующим глазной клиникой. С этого момента и до конца своей жизни молодой в то время научный работник, профессор Филатов ведет все более широким фронтом борьбу со слепотой.

В борьбе с трахомой В. П. Филатов предложил свой метод лечения, который позволил без отрыва от производства исцелять и взрослых и детей. Вместе со своими

учениками он внес большой вклад в наступление на трахому, которая приводила к слепоте. Большое внимание уделял профессор Филатов травмам (военным, бытовым и промышленным), он организовал скорую помощь и магнитный центр для пострадавших с травмами глаз, что несомненно сказалось в положительных результатах при лечении.

В 1914 году во время 1-й мировой войны он предложил новый оригинальный метод пластической операции, так называемый круглый филатовский стебель, который, по словам крупного хирурга Петрова, создал новую эпоху в пластике. Этот метод широко использован хирургами в нашей стране и за рубежом. Сам Владимир Петрович этот труд посвятил нашей героической армии, в 1942 году был отмечен 25-летний юбилей круглого стебля. Круглый стебель Филатова в хирургии—это крупнейшее достижение нашей медицины.

Вторым крупным достижением является пересадка роговицы при бельмах. Владимир Петрович Филатов впервые осуществил ее в 1912 году, а в 1913 сделал доклад об этом случае. По окончании войны Филатов успешно развивает борьбу со слепотой от бельм. Он создает новые инструменты с помощью техника А. П. Марцинского, детально разрабатывает технику этой операции, и, самое главное, он предлагает использовать для этой операции роговицу глаз умерших людей, сохраненную при температуре +2 или +4 градуса. Предварительные длительные и экспериментальные исследования, проводимые В. П. Филатовым, доказали, что роговица от глаз умерших после хранения на холоде в течение нескольких дней приживается с большим успехом, нежели роговица, не выдержанная на холоде. Это открытие разрешило вопрос о пересадке роговицы при бельмах, так как людей, слепых от бельм, во всем мире насчитывалось приблизительно 6 000 000 человек, а у нас в стране около 260 000. Решение проблемы пересадки роговицы имело огромное значение, кроме того,

эта работа внесла много нового в разработку вопросов влияния охлаждения на ткани и организм. Внедрение открытия проходило в борьбе с отдельными научными сотрудниками, которые предупреждали об опасности пересадки роговицы от глаз умерших людей, а также с религиозными людьми. Однако огромные достижения Владимира Петровича Филатова, а также его последователей показали на практике несомненную пользу этой операции. Но В. П. Филатов говорил: «Да, пересадка роговицы нужна, и хорошо, что мы имеем метод борьбы со слепотой от бельма, но надо стремиться к тому, чтобы этих бельм не было, и при всяком воспалении глаз применять все меры для остановки этого заболевания. Прежде всего надо знакомить население с болезнями глаз и приучить его своевременно обращаться к врачу. Это вопрос личной гигиены и здоровья. Советским здравоохранением достигнуты большие успехи в борьбе с трахомой и другими болезнями при помощи их предупреждения, то есть профилактики».

В борьбе с различными болезнями академик В. П. Филатов предложил новый метод лечения, так называемую тканевую терапию. На основании своих наблюдений по пересадке роговицы после ее охлаждения, академик Владимир Петрович Филатов разбирает целый ряд вопросов о влиянии тканей и экстрактов из этих тканей животного происхождения после охлаждения. Охлажденные ткани или вытяжки из них оказывают лечебное действие при глазных и неглазных заболеваниях в опытах на животных. После стерилизации тканевые препараты стали применяться и другими специалистами для лечения заболеваний глаз, а также других заболеваний организма. В далеко зашедших процессах тканевые препараты вводились в сочетании с антибиотиками, витаминами. Наряду с клиническими наблюдениями изучался химический состав этих препаратов и механизм их действия. В настоящее время эти исследования продолжаются, и тканевые препараты

являются регуляторами нарушенного обмена при заболевании. Вводя в организм тканевые препараты, тем самым регулируем местные физиологические функции, повышая сопротивляемость организма, и усиливаем регулярные процессы в организме.

Академик В. П. Филатов придавал большое значение этой проблеме в общем вопросе защиты организма от действия внешних и внутренних отрицательных факторов, вызывающих патологические состояния. В. П. Филатов придавал большое значение правильному питанию, занятиям физкультурой, закаливанию организма.

Академик Филатов внес много нового и в другие отделы офтальмологии.

Глаукома. Суть этой болезни состоит в том, что нарушается гидродинамика глаза, а отток влаги из глаза происходит неправильно, и глаз теряет зрение вследствие повреждения нервно-сосудистого аппарата. Совместно со своим учеником профессором С. Ф. Кальфа Филатов разработал раннюю диагностику глаукомы и создал первый в мире диспансер для раннего выявления этого заболевания, которое и до сих пор считается первой причиной слепоты у взрослых. Вместе со своими учениками он создал и новые методы лечения, предложил операции при этом недуге.

Злокачественные опухоли органов зрения. В. П. Филатов уделял большое внимание этому тяжелому заболеванию, и сейчас широко разрабатываются его учениками новые методы ранней диагностики и лечения.

Отслойка сетчатки, которая часто наблюдается у близоруких. Владимир Петрович вместе со своими учениками посвятил ей много работ и предложил свой способ операции отслойки сетчатки, придавая большое значение ранней диагностике. Борьба с травмами, с различными заболеваниями наследственного характера и на почве общего заболевания, борьба с близорукостью и косоглазием — все это нашло отражение в работах академика В. П. Филатова

и его учеников. Огромная роль отводилась профилактике заболеваний детей, поэтому при институте были открыты детское отделение и кабинет по изучению близорукости и косоглазию.

Будучи депутатом Верховного Совета УССР, Филатов проводил большую общественную работу по борьбе со слепотой. Достижения своей школы Владимир Петрович широко внедрял не только в нашей стране, но и за рубежом. Впервые в 1937 году были созданы курсы для периферических врачей с целью ознакомления их с пересадкой роговицы и другими достижениями. Была налажена переписка с больными, организована фотографическая лаборатория. Академик Филатов много выступал с докладами в различных городах и учреждениях нашей страны перед студентами и рабочими.

В годы войны, будучи эвакуированным сначала в Пятигорск с частью сотрудников, затем — в Ташкент, он проводил большую работу как главный консультант госпиталя, внедрил пересадку роговицы при бельмах у раненых бойцов. Широко внедрил новые методы лечения, разработанные в институте, разъезжал по всем госпиталям, расположенным под Ташкентом. Вместе с доктором В. В. Скородинской он выезжал в лепрозорий, где внедрял свой метод тканевой терапии.

В самом Ташкенте проводил операции в клинике (профессора Архангельского), в больнице (доктора Быкова) и делился накопленным опытом с врачами.

На базе госпиталя 1262 частично был восстановлен институт, и В. П. Филатов и здесь, в условиях военного времени, без всяких условий для проведения научных наблюдений сумел наладить некоторые научные исследования благодаря помощи заведующей ветеринарной научной станцией А. И. Муссерской, память о которой хранится до сих пор. Она как заведующая ветеринарной научной станцией дала помещение и прикрепила двух своих сотрудников. Все это позволило продолжить начатую в

Одессе работу по тканевой терапии. В этой работе принимали активное участие профессор Цуверкалов, доктор Тарасова, научный сотрудник Н. А. Иоффе и В. В. Скородинская. С помощью профессора Благовещенского и его ученика И. И. Чикало (ныне профессор института имени академика В. П. Филатова) разрабатывались вопросы механики действия тканевых препаратов, которые изучались в основном после войны в Одессе.

Встреча со многими учеными, эвакуированными в Ташкент, способствовала ознакомлению их с работами Владимира Петровича по теории биологических процессов, протекавших в тканях при охлаждении. Академик Владимир Петрович Филатов до конца своей жизни проявлял особый интерес к этой проблеме. Наряду с большой общественной работой В. П. Филатов по возвращении в Одессу, начиная с октября 1944 года до конца жизни занимался восстановлением института. Партия и правительство, учитывая работы академика Филатова, восстановили институт в больших размерах, чем до войны, главным образом за счет лабораторий для научных исследований. Было построено новое здание амбулатории, заложено новое здание клиники. Наряду с этим В. П. Филатов развивал научные исследования и клиническое наблюдение.

За свою работу академик Владимир Петрович Филатов в 1933 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1940 году удостоен звания лауреата Государственной премии. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Отечественной войны, Герой Социалистического Труда. До и после войны В. П. Филатов был председателем одесского общества офтальмологов, а также состоял почетным членом других обществ. В 1946 году он организовал выпуск «Офтальмологического журнала». Много учеников В. П. Филатова, как в институте, так и вне его, защитили кандидатские и докторские диссертации. Многие стали руководителями глазных клиник и отделений.

В 1951 году В. П. Филатов награждается Золотой медалью АН СССР им. И. И. Мечникова.

В 1956 году перестало биться сердце выдающегося ученого, известного деятеля науки, академика В. П. Филатова, вечного борца за зрение и здоровье людей. Дело, начатое академиком В. П. Филатовым, успешно развивается его учениками под руководством академика Надежды Александровны Пучковской, и это является лучшим памятником Владимиру Петровичу Филатову. Память его увековечена надгробием на кладбище и бюстом работы скульптора А. А. Ковалева в институте. Созданы кабинет-музей академика В. П. Филатова, в нем собраны работы и все, что касается его деятельности и жизни, его стихи, рассказы, картины, которые он писал в часы отдыха.

В 1969 году построен теплоход, который носит имя академика Филатова. Корабль бороздит моря и океаны и уже посетил более двадцати стран мира на всех континентах. Команда судна установила переписку с музеем академика В. П. Филатова и Варварой Васильевной Скородинской-Филатовой, которая при посещении теплохода в 1970 году передала экипажу от института бюст академика Владимира Петровича Филатова. В музее хранится фото теплохода и судовой флаг.

В 1975 году в феврале исполняется 100 лет со дня рождения академика В. П. Филатова, жизнь которого была отдана борьбе со слепотой и инвалидностью.

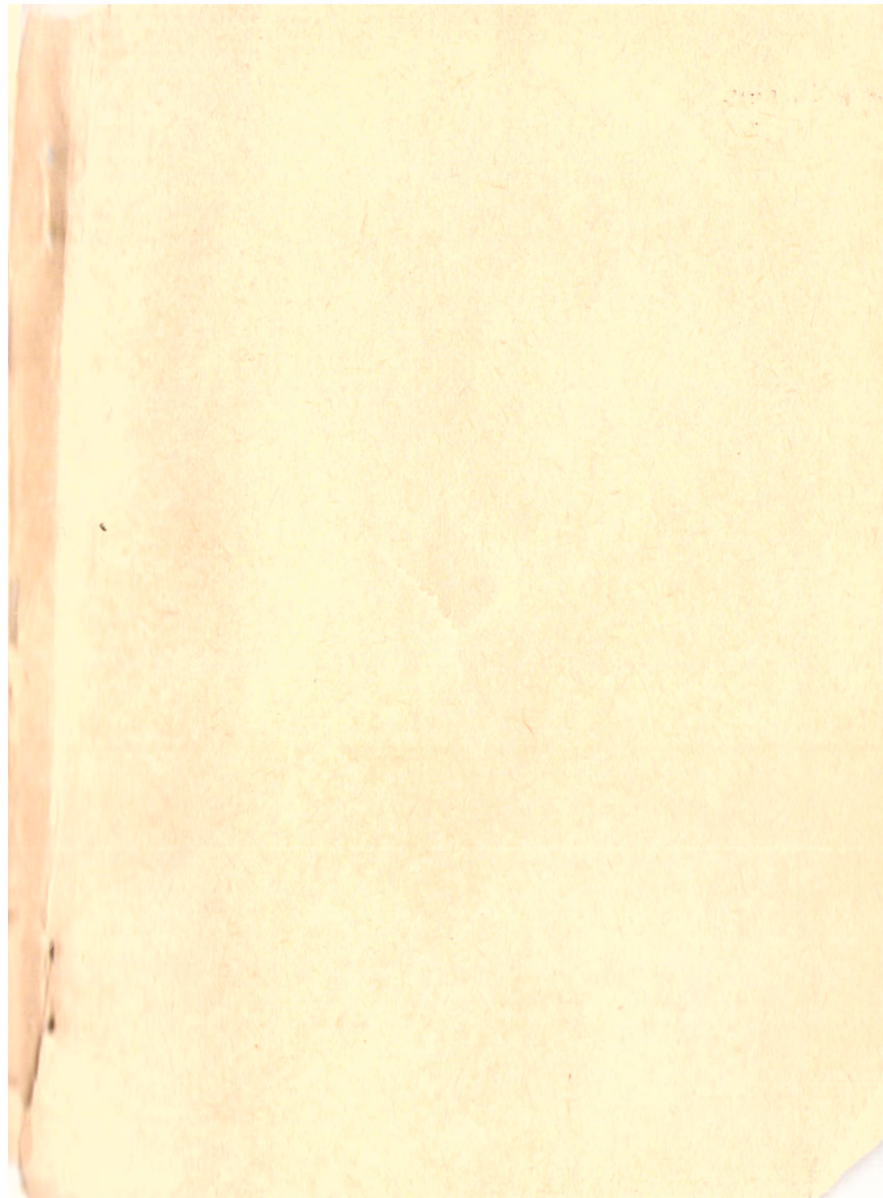
СОДЕРЖАНИЕ

Н. Я. Назаркин. Жизненный путь Владимира Петровича Филатова	3
В. В. Скородинская-Филатова. О воспоминаниях В. П. Филатова	8
В. П. Филатов. Воспоминания	9
Детство и юность	11
Из воспоминаний о Симбирске	29
Студенческие годы	33
Послесловие	70
В. В. Скородинская-Филатова. Жизнь и работа академика В. П. Филатова	72

Редактор Г. Балабаев
Технический редактор А. Коровина
Корректоры З. Савинова, Р. Овечкина

Сдано в набор 11/XII 1974 г. Подписано к печати 10/II 1975 г.
Ю01063. Бумага 70×108¹/₃₂ № 2. Печ. листов 3,5.
Уч.-изд. листов 3,55. Тираж 2000 экз. Заказ № 53.
Цена 10 коп.

Книжное отделение типографии „Красный Октябрь“
Управления по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли Совета Министров Мордовской АССР,
г. Саранск, Московская, 115.



Цена 10 коп.